

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

РАССКАЗЫ

ЭТИХ ЛЕТ

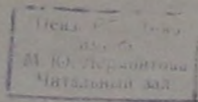
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1946

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Э 76

52161

РАССКАЗЫ
ЭТИХ ЛЕТ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1944

АКТЕРКА

Когда молодой актрисе Лизе Белогорской сказали: «Вы поедете на фронт», она готова была разрыдаться от счастья. Ее извели сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродуктора твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике: «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили».

Она играла в небольшом, прежде тихом городе, переполненном беженцами: они жили, как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоносцев, усталых и замерзших, звучали, как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно взрывали землю и готовили снаряды.

В театре ставили старые трагедии, военные мелодрамы. «Зачем это?» — спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным:

яркий свет лампы, румяна, реплика героини: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет...» Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе; говорили о хлебе, о раненом муже или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе. Она жила в темном углу, среди старух и детей; там она писала: «Я не могу больше кривляться».

Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взыскательностью, которая греша очень молодым и честным натурам. Не честолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством. «Ломака», — говорила ей когда-то мать. Лиза не ломалась: она чувствовала себя то Анпой Карениной, то тургеневской Асей, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока; мать давно умерла; товарищи ее чуждались: чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей: «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился; а может быть, и не он — май, жасмин, молодость. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся: «Актерка...» Больше они не встречались.

Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену, и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея

и сырости, глядя на черные пустые кресла, в которых сидели призраки, музы, Лиза понимала, что ей от этого не уйти.

Говорили, что есть у нее талант, что она сможет стать настоящей актрисой; но она чувствовала — чего-то ей нехватает. Чем больше она думала над своей ролью, тем дальше уходила от пьесы, от партнеров, от зрителей. Иногда она обвиняла репертуар: она играла то девушку, в давние времена сгоревшую от любви, то партизанку, которая между боями приносит длинные речи. Лизе казалось, что любви больше нет и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? И Лиза писала: «Жизнь стала такой большой, что в ней теперь нет места для искусства».

И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась: «Неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать тех, чистых и больших?..»

Актеры ехали радостные и взволнованные; потом все притихли — они увидели то, о чем прежде только читали: трубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщины с детьми, которые копошились в пепле.

Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка, молодая, незамуженная, с чересчур большими глазами

ми на узком увядшем лице, рассказывала: «Я моего в снегу схоронила. Потом думаю — замерзнет мальчик. Взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит: приказ — угонять. Я держу, не пускаю. Здесь он стоял, у печи... Он как ударит мальчика... Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучался...» Женщина вздохнула и стала мешать угли в печи. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезали все слова, все жесты. «Не улыбаться, не говорить, а если что делать, то только стрелять», — думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых; они молча глядели на пустое зимнее небо; ездовой бил в ладоши, и рукавицы были, как деревянные. Лиза сказала певцу Бельскому: «Зачем мы приехали? Нас прогонят...»

Концерт устроили в здании школы; при немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки. Ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие, растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожились. Это были саперы; еще вчера они ползали по снегу, выискивая мины. Волнуясь, как никогда дотоле, Лиза читала стихи о люб-

ви, которая убивает, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых небритых людей. Ей долго аплодировали; она в ответ улыбалась слабо и беспомощно — ведь она отдала свое сердце, как донор дает кровь. Вернувшись в комнату, где сидели актеры, она ответила Бельскому: «Не знаю... кажется, хорошо», — и схватилась за косяк двери, чтобы не упасть.

Они выступали на аэродромах, в госпиталях, в лесу. Иногда концерт обрывался на крике: «Воздух!» Лиза узнала, как рвутся фугаски. Ей пришлось лежать на вязкой рыжей глине. Она ночевала в блиндажах, и канонада стала для нее привычным, почти домашним шумом. Толстый генерал поил Лизу мадерой, приговаривая: «Я ведь старый театрал, в Свердловске я не пропускал ни одной премьеры...» Летчик, подросток с золотой звездой на груди, самоуверенный и застенчивый, говорил ей: «Вы мне напомнили мою первую любовь...» Пришел май, с его внезапными громкими ливнями, с кукованием в лесу, когда хочется что-то загадать, с глупыми шутками и с головокружением.

В один из последних вечеров Лизу провожал майор Доронин. До войны он был студентом-химиком. Они говорили о весне, о Толстом, о том, что у всех когда-то было детство; говорили, потому что боялись молчать. И все-таки наступила минута, когда они замолкли

Они встретились четыре дня тому назад. Доронин тогда помогал актерам разместиться в деревне. Лиза сразу им залюбовалась, хотя он и не был красив. Проверяя себя, она спрашивала: «Почему? Ведь я видела многих, как он... — И тотчас возражала себе: — Неправда! Впервые я встретила такого человека. Конечно, на вид он обыкновенный, он не актер. Но все в нем необычно. И строгие глаза, и слова о Лермонтове, и то, как он сказал: «Вы не рассердитесь, если я буду вас звать Лизой?»

«Значит, завтра уезжаете?» — Доронин остановился. Тогда Лиза положила руки на его плечи и первая его поцеловала. По черному небу шла зеленая ракета, как одинокая и заблудившаяся звезда.

Когда Лиза вернулась в свой город; все ей было чужим и непонятным. Она не могла слушать разговоры о распределителе или о том, что Валя сошлась с директором. Один из актеров сказал: «Сегодня пустая сводка — ничего не взяли». Лиза вспыхнула: «Не смейте так говорить! Ведь это — бой, кровь...» Театр показался ей будничным: скучают, по привычке хлопают и спешат к вешалке... Как она тосковала по тем зрителям!.. Она носила на груди талисман: номер полевой почты. Не хотела писать, ждала, что напишет он; потом смирилась: «Ему некогда, они наступают...» Она написала короткое письмо, стараясь скрыть свою страсть.

ревность, тревогу. Ответ пришел ласковый, но горький. Лиза в гневе скомкала листок. Доронин писал, что в жизни много детского, что он показался ей интересным на фронте, но, когда кончится война, она найдет его скучным и заурядным, она ведь актриса, ее ждет бурная жизнь («сто жизней», писал он), а Доронин, если не вмешается в дело мина или пуля, станет обыкновенным химиком.

Она оскорбилась, хотела вырвать из сердца чувство, уговаривала себя: «Он прав. Я играла и заигралась, я не умею отличить правду от вымысла...» Минуту спустя она сдавалась: «Он говорит так потому, что не любит. А я теперь знаю, что одно дело — играть умирающую, другое — умирать». Так металась она неделю, а потом написала Доронину страстное, бестолковое, как она сама говорила, «бабское» письмо: она клялась в любви, писала: «Если ты захочешь, я брошу сцену. Я могу жить без искусства, но не без тебя...» Когда она опустила письмо в ящик, ей стало страшно: «Вот и конец актриски!»

Она долго ждала ответа. И вот пришел письмоносец, привыкший к вскрикам радости и страха, равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано: «Выбыл из части». Она пролежала весь день. Вечером она играла, дурно играла, машинально повторяя затвержен

ные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь; вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это — вымысел.

Потом снова пришел письмоносец, и она прочитала: «Дорогой товарищ! Я должна сообщить вам печальное известие. Ваш жених, майор Доронин, скончался в нашем эвакогоспитале. Мы делали все, чтобы его спасти, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часики. Я старая женщина, и я, как мать, прижимаю вас к своему сердцу...»

Лиза сказалась больной. Ее не видели два дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль; но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет», зал замер. Ей устроили овацию. Режиссер, лысый и грустный, говорил: «Лизанька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой...» Она беззвучно отвечала: «Не нужно...» Она пришла домой и в сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. «Он сказал ей, что он — мой жених...» Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно сползала вниз. И вдруг Лиза подумала: «А все-таки я актриска...»

ГЕНЕРАЛ МЕРСЬЕ

Вокруг развалин толпились зеваки. Полицейские уныло повторяли: «Освободите проход!» Ждали генерала Мерсье. Немногие помнили, что он когда-то разбил корпус кронпринца. Люди пришли поглядеть на старого генерала, потому что в городе было голодно и скучно; разговоры о пайках перебивались только криками сирен.

Сын генерала Второй империи, Мерсье воевал в Индокитае и в Африке; был ранен; переболел тропической лихорадкой. Светским приемам он предпочитал тогда кислый кофе в солдатской кружке. Четверть века тому назад он прославился. В газетах можно было увидеть его лицо с густыми нависшими бровями. Его называли «героем Марны». Осколок снаряда оторвал два пальца на левой руке генерала; он выругался, но не ушел с командного пункта. Солдаты его любили за смелость и грубоватую, но сердечную прямоту. Потом о нем забыли. Умерла жена. При автомобильной катастрофе погибли единственная дочь и внук. Он одиноко доживал свой век.

Началась новая война. Генерал был увлечен подготовкой тяжелой артиллерии для прорыва линии Зигфрида. Разгром французской армии застал его врасплох. Ему показалось, что это — конец. Но жизнь продолжалась. Вскоре ему предложили ответственный пост. Он ездил в Висбаден, ходатайствовал о мелких послаблениях, разрабатывал статут наемной армии и председательствовал на заседаниях военно-исторического общества.

Генерал был очень стар. Глядя на себя в зеркало, он пугался: его лицо напоминало пергамент, испещренный загадочными записями. Он ходил по воскресеньям в церковь и твердо помнил, что есть бессмертье; но когда при нем говорили о похоронах, о некрологах, он просовывал руку под мундир и ощупывал свое сухое, еще теплое тело. Он вставал в шесть часов утра и ложился в десять вечера, ежедневно совершал длительную прогулку, ел простоквашу и компот из чернослива. Дурные вести, особенно если они приходили во вторую половину дня, казались ему покушением на его жизнь. Когда кто-нибудь говорил: «Вы хорошо выглядите», он не мог скрыть свою радость.

Он жил в Виши, в пышных и запущенных комнатах гостиницы, где поезде останавливались богатые американцы. Все было здесь чужим и ненужным: и бронзовые канделябры, и фарфор, и гобелены с пыльными нимфами Ге-

генерал думал: хорошо, что нет любимых вещей. Он чувствовал себя просветленным: время освободило его от привязанностей. Давно умерли сверстники, друзья, близкие. Все прекрасное, когда-то им пережитое, теперь было сосредоточено в нем самом, в его хилом теле, в разорванных неясных воспоминаниях.

Однажды он получил оскорбительное письмо. Человек, поставивший вместо подписи «француз», спрашивал: «Как могли вы, герой Марны, предать Францию?» Генерал в гнев скомкал листок, потом разгладил его и неожиданно усмехнулся: он понял, что никто не в силах его обидеть. Франция — это он. Все меняется: когда-то Франция была сильной, одерживала победы, считала трофеи. Тогда генерал сражался. От тех дней остались только выцветшие ленточки на груди да несколько тактов веселого марша. Теперь он подписывает слезливые обращения и принимает безработных полковников. Что же, он разделил судьбу Франции.

Конечно, немцы грубоваты; но за ними сила. Разве не ребячество идти с винтовками против танков? Притом выбор сделан: судьба порядка связана с судьбой Германии. Кто против немцев? Мальчишки, бунтовщики!

Давно немцы разогнали опереточную армию Виши. Военные историки занялись спекуляцией. А генерал сохранил свой пост. Он присутствует на молебнах, принимает делегации. Газеты

попрежнему называют его «героем Марны», и он привык к этим словам, как к своему имени.

Он приехал в город, пострадавший от воздушной бомбардировки. Поездка его утомила. Он знал, что сейчас придется выйти из машины, глядеть на груды мусора, сокрушенно вздыхать. Живые города выглядят по-разному, а развалины похожи друг на друга...

Генералу хотелось громко зевнуть. Он остановился возле дома, рассеченного пополам. На полке — фаянсовая бретонская чашка. Из такой чашки жена пила кофе... Удивительно, дом развалился, а хрупкая вещьца уцелела! Так и генерал — он уцелел, когда все кругом рухнуло. Эта мысль его развеселила; но, вспомнив об окружающих, он поспешно вздохнул: «Ужасно! Они разрушают мирные города...» На его тусклых глазах выступили слезы, как влага на зимнем окне.

Генерал знал, что бомбардировкой выведен из строя завод, на котором изготовлялись пропеллеры для немецкой авиации, убито свыше ста рабочих. Он думал об этом равнодушно, как о чужой и далекой войне. Ему предстояло еще испытание: госпиталь.

Он поморщился от запаха: так пахла комната жены — каплями, примочками, лилиями. Сердито покашляв, он спросил:

— Где же пострадавшие?

На одной из коек лежал немолодой рабочий Огюст Дюмон. У него была тяжелая рана; но он не жаловался; смерть его не пугала. Его старший сын, танкист, погиб у Амьена; второй, Морис, попал в плен. Жена умерла прошлой осенью; доктор говорил, что от гангрены, но Огюст знал, что старуха не выдержала. Разве это жизнь? Почему Мориса держат четвертый год в Германии? Почему в городе хозяйничают боши? Очень просто: предали! Говорить об этом нечего: словами не поможешь. Будь Огюст моложе, он ушел бы в горы. В ту войну он воевал, и неплохо...

Когда налетели английские самолеты, Огюст вспомнил былое: грохот орудий, горячий удушливый воздух, зеленые ракеты. Соседка, вдова Соваж, перепугалась. Огюст ей сказал: «Хорошо, что додумались. Для бошей это неприятный сюрприз». Женщина кричала: «Но они нас убьют!..» Огюст не слушал, он глядел на небо — огонь как бы выражал его чувства.

На следующий день вдова Соваж пришла в госпиталь, чтобы проведать Огюста. Он ей сказал: «Кажется, я не выскочу... Но хорошо, что они распотрошили завод,— для бошей это большой удар».

Генерал остановился у койки Огюста. Сестра представила: «Ветеран мировой войны. Один из старейших рабочих. Его сын погиб на Сомме». Генерал отчеканил: «Труд и семья, вот что

поддерживает человека». Он хотел пройти дальше, но вспомнил, что перед ним — солдат.

— На каком участке фронта вы сражались?

Огюст ответил не сразу:

— Вы меня, конечно, не помните. Но я вас узнал. Вы прикрепили медаль к моей груди. Это было в Мурмелоне, после того как я приволок немецкого офицера...

Генерал поглядел на Огюста. Лицо раненого передавало такое страдание, что даже старик, давно разучившийся жалеть других, отвернулся. В его голосе послышалось участие:

— Мой друг, вы очень страдаете от раны?

Огюст напрягся и громко сказал:

— Не от раны... От того, что вижу вас. Герой Марны с бошами! Лучше бы мне тогда умереть...

В палате стало невыносимо тихо. Генерал закрыл глаза. Нашелся старший врач: «Больной бредит. Это очень тяжелый случай...» Генерал приподнял мясистые лиловые веки и направился к выходу.

Прошло несколько месяцев. Генерал попрежнему что-то подписывал, говорил с инвалидами, с бесперемонными немецкими интендантами и в десять часов вечера, удовлетворенный, ложился на тересчур широкую для него кровать. По утрам он читал газеты. Поражения немцев его веселили и огорчали; он приговаривал: «Пусть и они узнают... Но это наруку нашим мятсжини-

кам...» Впрочем, газеты не могли нарушить его покоя. Стояла хорошая осень, и он наслаждался последними погожими днями. Мёртвые листья пахли грибами и детством. На дорожках сверкали отполированные каштаны, как зерна бус. Ребенком он любил подбирать каштаны... Наверно давно сгнили деревья того сада; но он видел высокую крапиву, кусты дикой малины, беседку, шиньон тетки Эрнестины, как будто это было вчера. Последующая жизнь — битвы, штабные карты, ордена, парады терялись в тумане. Напрасно он пытался вспомнить реку своей славы — Марну: те дни казались ему давно прочитанной книгой.

Он принимал делегацию ветеранов Шампани и рассеянно слушал: «Пенсионеры... реквизиция... истощение...» При слове «Мурмелон» он вздрогнул и забеспокоился: он увидел лицо раненого, искаженное болью. Когда делегаты ушли, он сказал адъютанту: «Наведите справки о том рабочем...» И, спохватившись, добавил: «Я принимаю к сердцу судьбу каждого солдата».

Несколько дней спустя адъютант доложил:

— Рабочий, о котором вы спрашивали, поправился. Но он задержан немцами. Полковник фон Клейн ответил мне, что он подлежит расстрелу за связь с бандами. Может быть, генерал захочет вмешаться?

Шел дождь, длинный осенний дождь. Он сер-

М. К. Держанова

добольно прикрывал своей извечной грустью разорение и нищету некогда блистательного курорта. Казалось, что попросту закончился сезон, разъехались больные, позакрывались гостиницы, кафе, театры, лавчонки с яркими безделушками, и только старики остались да голые деревья, которым уж никуда не уйти.

Генерал ответил удивленно и рассерженно:

— Я не помню, о ком вы говорите... Я не хочу вмешиваться. Это их дело. Они забарили, пусть и расхлебывают. А я устал, я очень устал...

Он вернулся к затуманенному окну и долго глядел, как сумерки смешивались с широкими полосами дождя.

ДЖО

Я знал Джо до войны. Это был молодой пес, который, высунув язык, носился по заснеженным переулкам Замоскворечья. Видимо, его предки не отличались родовой спесью: у Джо были кривые короткие лапы и косматая непомерно большая голова. Мальцева дразнили: «Где вы такого лауреата достали?..» Даже Тамара говорила: «Я понимаю — завести хорошую овчарку...» Она любила театр и красивую жизнь. А Мальцев был сутулым неразговорчивым филологом. Его увлекали толстые и скучные книги.

Джо знал, что нельзя тревожить Мальцева, когда он сидит у стола. Порой это было очень трудно: звонили, и хотелось с бодрым лаем кинуться в переднюю, или с кухни доносились дивные звуки — Лена скребла сковородку. Но Джо не решался приоткрыть дверь; он только посапывал от душевного напряжения. Зато, когда Мальцев вставал, Джо начинал в восторге описывать по комнате круги. Этот пес был большим фантазером и жизнь пополнял вы-

мыслом. Он закапывал камень в снег, потом разрывал воображаемую нору и, упоенный, мчался с добычей к хозяину. Мальцев научил его относить газету старику Гнедину, который жил в соседнем переулке; и Гнедин смеялся: «В Америке — пневматическая почта, а у нас, так сказать, собачья...» Мальцев молчал: он знал, что никто не поймет его привязанности к этой криволапой кудластой дворняжке.

Пришла война, и Джо очутился вместе со своим хозяином в лесу Смоленщины. Майор Соколовский острил: «Вы, может быть, немцев думаете испугать?..» Мальцев кротко отвечал: «Джо не дурак...» Рассказывая об этом, Соколовский хохотал: «Лейтенант Мальцев рассчитывает на стратегические способности своего мопса, честное слово!» А Джо тем временем бегал между деревьев и разрывал прелые листья — он еще не понимал, что такое война.

Потом все затряслось. Земля полетела к небу. Мальцев лежал в грязи, и это особенно испугало Джо — он почувствовал, что происходит нечто ужасное. Люди глядели на небо. Джо тоже поднял голову и, не выдержав, завыл. Мальцев рассмеялся: «Что, брат, струсил?» Увидев веселое лицо хозяина, Джо успокоился; он даже стал бить хвостом о землю, обрадованный и пристыженный. Но тогда снова раздался грохот. Джо увидел, что один из товарищей Мальцева схватился за голову. И Джо

овладел страх. Ему хотелось убежать. Но он тихо лежал, прижав голову к земле и не сводя глаз с хозяина. Убежать? Нет, Джо не подлец! Он не будет выть — Мальцев сказал ему: «Тише!» Джо еле слышно повизгивал. Он понял, что жизнь изменилась, что больше никогда не будет ни коврика, на котором он спал, ни Лены, ни часов блаженства, когда Мальцев шуршал страницами книги, а Джо снились чудные сны — то сосиски, выпавшие из кошелки старухи, то погоня за кошкой.

Так Джо победил страх. Налетели бомбардировщики. Рвались снаряды. Противно, будто кто-то стучит в дверь, трещал пулемет. На мне взорвался грузовик. Джо знал, что смерть повсюду — в небе и на земле. Но Мальцев не боится, значит, не нужно бояться. Хозяину тоже нелегко; наверно, ему приятней читать книги или гулять по набережной с Тamarой... В Москве Джо порой забывал про хозяина — когда гонял галок или когда дрался с нахальным бульдогом, проживавшим в том же переулке. Здесь Джо не отставал ни на шаг от Мальцева. Он любил его той простой всепоглощающей любовью, которую люди снисходительно называют «собачьей» и по которой они тоскуют всю свою жизнь.

Мальцев не сразу привык к фронтовой обстановке. Смерть его не пугала, но он боялся, что не сможет как следует воевать, не найдет

слов, способных приподнять бойцов: был он человеком книжным и малообщительным. Тамара писала редко, и письма были холодными. Мальцев знал, что пройдет месяц-другой и она перестанет писать — ведь никогда она его не любила, только позволяла любить себя. Время было тяжелое; приходилось отступать; люди спрашивали друг друга: «Когда же их остановят?..» Мальцев воевал, сжав зубы. Джо напоминал ему о прежней счастливой жизни, о книгах, мечтах, о молодости.

А Джо переменялся; он теперь казался неизменно озабоченным. Давно привык он к артиллерийскому огню, научился ползти по открытой местности, прятаться в воронках. Как-то в деревне рыжая собачонка кинулась к нему с вызывающим лаем. В былое время Джо не уклонился бы от драки — был он вспыльчив. Но теперь он прошел мимо, даже не отругнувшись.

Он спал в палатке и проснулся оттого, что Мальцев его погладил. В ту ночь Мальцеву было особенно горько. Накануне один из бойцов сказал: «Да разве их остановишь?» Мальцев знал, что немцев можно остановить, но слова малодушья остались в голове, как привкус во рту, они не давали уснуть. Джо понял, что значит эта неуклюжая скупая ласка, и он прижал свой сонный шершавый нос к ладони Мальцева.

Зима в тот год была ранней и суровой. Ко-

гда Мальцев ходил на КП в деревню Журавлевку, Джо поджимал озябшие лапы. Больше недели они стояли на холме у замерзшей речонки. Джо перебегал от одного пулемета к другому. Бойцы с ним свыклись: он придавал видимость уюта и спокойствия.

Джо в тот день было холодно и грустно. Он не понимал, почему они не идут в деревню. Там — толстый майор, он каждый день играл с Джо... А сегодня что-то случилось. Джо не знал, что немцы прорвались к дороге на Круглово. Он не знал, что есть приказ — стоять насмерть. Джо только видел, что Мальцеву не до него, и, прижав виновато уши, Джо старался стать незаметным.

Мальцев был внешне спокоен, но все в нем кипело. Боеприпасы на исходе. Нужно открыть артогонь по дороге на Круглово... А рация не работает. Проволочная связь оборвалась. Мальцев попробовал послать двух бойцов в Журавлевку; одного убили, другой приполз назад раненый. Мальцев не думал ни о себе, ни о товарищах. Он был одержим одним: остановить немцев! Открыть огонь по дороге на Круглово — в этом был весь смысл той жизни, которая прежде ему казалась непостижимо сложной.

И вдруг Мальцев понял: послать Джо. Он смастерил из рубашки маскхалат для собаки. К ошейнику привязал записку: «Боеприпасы кон-

чаются. Продержимся до 16.00. Огонь по дороге на Круглово, левее роши». Он показал Джо: «Беги! К майору беги!» Но Джо не понимал. Он видел, что хозяину нужна его помощь, но не знал, что он должен сделать. Не отрываясь, он глядел на Мальцева, и в его собачьих глазах была тоска. Тогда Мальцев дал ему старую газету, оставленную на раскурку. Джо схватил в зубы газету и поглядел — куда? Он догадывался, что нужно пойти в деревню, куда ходил каждый день с хозяином. Мальцев показал: беги! И Джо пополз.

До Журавлевки было три километра. Джо полз, останавливался, нырял в снег и снова выплывал. Он боялся потерять газету, и ему трудно было дышать. Вначале он полз ложбинкой; потом начался подъем. Джо хорошо помнил дорогу. Было тихо. Джо дополз до высоты, когда начался обстрел. Он свернул направо и стал ползти зигзагами — так он ходил с Мальцевым. Вдруг он почувствовал сильную боль. Он замер. Осколок мины раздробил его задние лапы. Он лежал недвижимый. Потом сознание вернулось к нему. Он взвизгнул и сразу вспомнил: нужно отнести газету. Он напрягся и пополз, вернее поплыл, загребая снег передними лапами.

Он поспел во-время: КП перебирался на новое место. Майор, прочитав записку, крикнул: «От Мальцева!» Происходило это в крайней

избе, где жил майор. «Свяжись с Редько... Пирогову скажи: левее роши...» Майор был взволнован и торопил адъютанта. Возле избы стояла «эмка». Никто не обращал внимания на Джо. А он видел, что газета, ради которой он приполз сюда, валяется на полу. Он тявкал, хотел сказать: подымите газету! Но людям было не до него. Майор и трое других вышли из избы. Джо остался один. Он с трудом пополз — хотел вернуться к хозяину, но не смог открыть дверь. Он пролежал в этой избе вечер, ночь и день. Его мучала жажда; сухим языком он лизал разбитые лапы. Шумели тараканы. Джо с тоской думал: где Мальцев? Снова стемнело, и пес почувствовал всю тяжесть одиночества. Он хотел завывать, но не смог. Он забылся; ему показалось, что он — щенок, а мать ушла. Он искал ее и не мог найти; и в бреду он плакал — где Мальцев?..

А Мальцев был счастлив. Когда начался обстрел дороги на Круглово, он понял, что Джо добрался. В шестнадцать ноль ноль было уже темно, и рота Редько пришла во-время. Мальцев спросил: «Где собака?» Никто не знал. Редько пришел из Некрасовки. На рассвете немцы пробовали атаковать, их отбили. Потом пошли в атаку две роты — Мальцева и Редько. Им удалось отбросить немцев от дороги на Круглово.

Когда стемнело, Мальцев отправился в Жу-

равлевку: связи не было, и он думал, что КП на старом месте. В пустой избе, где прежде жил майор, он увидел Джо. Пес очнулся и хотел вскочить, но не мог приподнять головы. Только хвост его чуть вздрогнул, и все, что было в его собачьей душе, выразилось в глазах — он взглянул на Мальцева. Мальцев отвернулся. Потом он наклонился, погладил Джо, помолчал, еще раз погладил, и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил. Он вышел из избы, не оглядываясь. Нужно было разыскать КП.

Теперь Мальцев подполковник. На его груди ленточки орденов и ранений. Кто узнает в этом уверенном, опытном командире застенчивого филолога? Он нашел путь к сердцам людей, узнал крепкую дружбу, полк для него стал домом. Он многое видел. Он видел кровавый дым над Сталинградом и колодец с детскими трупами. Его глаза приобрели тот тяжелый, тусклый блеск, который выдает людей, видевших больше, чем положено человеку. Недавно я с ним встретился. Мы весь вечер проговорили в темной сырой землянке о верности и ветрености, о том, как трудно распутать клубок себялюбия и благородства. Мы вспомнили довоенную Москву, тихий переулок Замоскворечья. Тогда Мальцев сказал мне: «Вас это удивит, но я не могу забыть глаза Джо, когда он увидел в моей руке револьвер»...

УДЕЛ КАПИТАНА ВОЛКОВА

— Откуда такие берутся? — воскликнул капитан Волков.

Тот, к кому относились эти слова, невзрачный человек с жирным угреватым носом, подтянул штаны и удивленно посмотрел на капитана.

— Это вы про меня? Я — ближний, из Буринского района, отсюда будет сорок километров.

Казалось, он не понимает, почему женщины хотели его растерзать, почему офицеры смотрят на него с любопытством и отвращением. Это был полицейский Геннадий Калюта. Бойцы отбили его у разъяренных крестьян и привели к командиру.

— Вы говорите, что бросали детей в могилу? — переспросил Волков.

— Не бросал, а клал... Немец — фамилия Беккер, он здесь распоряжался, а я человек маленький. Мне они за август не уплатили...

Лейтенант Горбенко выругался. В сенях возмущенно шумели женщины. А Волков глядел

на предателя, как будто хотел найти в его мутных глазах разгадку.

Это был прекрасный осенний день, когда небо кажется особенно высоким, когда с шумом падают зрелые яблоки, когда листья, пурпуровые, оранжевые, бледно-лимонные, напоминают о неиссякаемых богатствах земли и когда повзрослевшие телята, будто предчувствуя тяготы зимы, напоследок носятся по жнивью. Ни сожженные хаты, ни остовы грузовиков, ни та грусть, которую война подмешивает в любой пейзаж, не могли омрачить красоты мира.

Для Волкова это был долгожданный день победы: на рассвете его батальон выбил из села немецких автоматчиков. Еще толпились восхищенные дети вокруг усталых бойцов; еще валялись у дороги немцы, неестественно маленькие, как бы спрессованные смертью; один из них, в дымчатых очках, лежал навзничь под ярким солнцем, и Волков подумал: чудно, что не разбились очки...

«Теперь они покатятся,— говорил себе Волков,— а там и Конотоп...» Смутно он подумал: «Неужели Киев?» И сразу увидел зеленые глаза Ольги, родинку на шее, маревое летнего дня. Когда они расстались, Ольга подымалась по крутой улице. Она оглянулась и что-то сказала: он не расслышал. Сколько раз он упрекал себя: «Почему не переспросил?» И вот — путь на Киев.

Да, час тому назад он был счастлив. Потом привели этого человека, и сразу стало темно в кате, померкли цветы на рушниках, почернели лица товарищей.

Только на войне Волков понял, как был прежде счастлив. Он помнил все: сверкало солнце на крашенных половицах; в палисаднике цвела персидская сирень; смеялись девушки. Старый профессор говорил о радио-бурях. В театре от любви умирала Травиата. А когда шел на Днепре лед, хотелось кричать от радости. Он знал, что встретит Ольгу, задолго до того, как они встретились: все в нем было готово для нежности, для ревности, для страсти. На даче было жарко, пахло смолой. Раскрасневшись, Ольга просила: «Не смотри...» Потом родился сын. У Пети были такие ясные глаза, что Волков, глядя в них, думал: «Вот он, человек!..» Они мечтали в то лето поехать на Кавказ. Началась война.

Он потерял Ольгу, как мир потерял счастье. Может быть, она успела выбраться из Киева, ищет его, пишет письма без адреса? Может быть, томится на крутой улице, прислушивается к каждому шороху, дышит слухами, ждет? А может, ее убили?

Волков пережил два черных лета. Они шли на восток и в тоске отворачивались от подымавшегося солнца. Он свыкся с горем. Но никогда он не заглядывал в те закоулки, где жи-

вет низость. Он видел вцселицы, группы детей, слышал рассказы о зверствах. Это делали немцы, и он не спрашивал себя, откуда они взялись, не пытался заговорить с пленными. Но вот этот, с жирным носом, родился в такой же хате, мать звала его Геней, он играл в снежки, пел «Любимый город»...

— Как они вас купили?

— Если точно сказать, давали триста шестьдесят в месяц и буханку на два дня, а за август и вовсе не уплатили.

— Зачем вы убивали своих?

— Я вам говорю, товарищ начальник, я никого не убивал. Беккер убивал, это точно, еще приезжал сюда переводчик — фамилия Краус. А я что приказывали, то и делал.

— Что же вы делали?

— Я характеристики давал.

Лейтенант Горбенко снова не вытерпел: «Сволочь! Что с ним разговаривать!» Но Волков продолжал:

— Какие характеристики?

— Это значит на кого. Вот я дал характеристику на Климову Анастасью Филипповну, что состояла бухгалтером колхоза «Заветы Ильича». Беккер ее расстрелял. Это на пасху было. А мне он сказал, чтобы я еще выявил. Я дал характеристику на старика Фомиченко. Он говорил против немцев, и сын у него коммунист, в армии. Они его тоже прикончили. Потом я

болея два месяца, а только встал, они мне сказали, что снова нуждаются. Я дал характеристику на одну женщину. Эвакуированная, фамилия — Швея, проживала в районе с ребенком. А на ребенка я характеристики не давал. Краус убил ее и ребенка.

Волков резко поднялся и вышел из хаты. Женщины кричали: «Зачем гада спрятали?» Он не слышал. Он не замечал детишек, которые шли за ним и восторженно верещали: «Звездочек-то сколько! Генерал...»

Он опомнился только, когда Горбенко спросил: «Двигаемся?» Волков развернул карту и стал объяснять: «Твои должны выйти на большак вот здесь — у роши...» Горбенко спросил: «Что с тобой? Болен?» Волков махнул рукой и не ответил.

Вскоре после этого был тяжелый бой за станцию. Полковник нервничал, каждый час звонил: «Чорт знает что! Там их одна рота, а вы топчетесь!» Волков оставил Горбенко в роше. Другие роты он перекинул на левый фланг. Чуть рассвело, пошли. Разведчики подвели: немцев было не менее шестисот. Осколком мины убило лейтенанта Резника, и третья рота залегла. Немцы уже думали, что отбили атаку, когда бойцы снова ринулись вперед. С ними бежал Волков. Возле водокачки немцы его окружили. С капитаном было не больше двадцати автоматчиков. Волков ругался темной и горячей ру-

ганью; он бил из автомата, и такая была в нем ярость, что уж полегли все немцы, а он еще строчил и ругался. Потом он вытер рукавом лицо, оглядел насыпь. Убитые валялись, как доски. Из роши выбежала вторая рота. Горбенко ликовал: «Ты только посмотри, сколько набили! Сейчас надо трофеи подсчитать. Всех представят, увидишь...» Волков ответил: «Набили. Но живых еще много...»

Когда хоронили лейтенанта Резника, Волков должен был произнести речь. Прежде он умел хорошо говорить; его всегда выпускали на собраниях. Теперь он мучительно оглядывался по сторонам, как будто искал слова. Наконец он сказал: «Всех перебьем». И залп автоматчиков прозвучал, как «аминь».

Его батальон дрался под Киевом. Сквозь дым и пыль Волков видел родной город. Он узнавал песок, сосны, дачи. Он ничего больше не ожидал: он знал судьбу Ольги. Ненависть росла в нем, как ребенок в животе женщины; она ворочалась и стучалась в сердце; от нее он задыхался. Лейтенант Серошевский говорил: «Я к нему подойти боюсь. Молчит. Что-то с ним случилось. Помнишь, у станции? Он ведь на рожон лез. Пули от него отскакивали, честное слово! Будь я газетчиком, я написал бы, что и смерть его испугалась. Ему полк собираются дать, а он и не улыбнется. Вот и скажи после этого, что такое жизнь?» Горбенко про-

сыпал табак и заворчал: «Безобразье!» — нельзя было понять, на кого он рассердился: на свои окоченевшие пальцы, на Волкова или на жизнь.

В Москве праздновали освобождение Киева. Розовые и зеленые ракеты освещали на углах улиц радостно возбужденных людей. В кате офицеры отогревались чаем: водки, как на грех, не было.

— Теперь и жена моя познакомилась с богом войны — каждый день у них салюты, — усмехнулся Серошевский.

Волков молчал. Он глядел в одну точку. Можно было им залюбоваться — столько было на его сухом лице новой холодной страсти.

— Вот и Киев позади, — сказал Горбенко. Он подумал: «Хоть бы Волков что-нибудь сказал — ведь мучается человек... Что с ним случилось?..»

А Волков пытался вспомнить лицо Ольги, тепло ее сонной руки, тихий смех; но перед ним стояли мутные глаза Калюты. Он жадно глотнул чая и обжегся. Он чувствовал, что его молчание тяготит всех. Ему хотелось сказать друзьям что-то очень ласковое. Но он еле выговорил:

— Это точно, что Киев позади. Скоро мы их добьем...

Он чокнулся чаем и вышел. Небо было все в звездах. Лаяла где-то собака. Он стоял и ни о чем не думал: дышал. А ночь была морозной.

МАРГО

Звали ее все Марго. Она, кажется, сама не помнила, что в ее бумагах значилось: «Маргарита-Луиза Монробер». Хозяйка шляпной мастерской говорила: «Марго, сделайте модель позабавней — это для той сумасшедшей американки». Старик-почтальон улыбался: «Вам письмо еще не написали, мадемуазель Марго». И бедняга Жан, сжимая теплую доверчивую руку девушки, вздыхал: «Марго!.. А, Марго!..»

Вздернутый носик, маленький круглый рот, вишневый от помады, смешливый взгляд, на лбу чолка. Мало ли таких мастериц в Париже? Но Марго всем нравилась. Когда она шла по улице, прохожие оглядывались, а угольщик Жюль щелкал языком: «Ну, и шельма!..» Консьержка, сварливое существо с рыбьими глазами и с пальцами, похожими на вязальные спицы, попрекала своего мужа: «Перестань пялить на нее глаза...»

Все это было давно: до войны. Иногда Марго снится веселая толпа, визг, карусели, хризантемы, голубые сифоны и певец, который на пло-

шадя Итали поет: «Париж, моя деревня»... Просыпаясь, Марго долго трет кулачком глаза, а потом плачет. По улицам ходят солдаты в серо-зеленых шинелях, злые и чужие, нет сил сказать — до чего чужие. Зачем они пришли? У немцев тяжелые башмаки, и они ступают, как будто хотят вытоптать синий асфальт. А Жан — в плену. Старик-почтальон, виновато улыбаясь, говорит: «Мадемуазель Марго, письмо немцы съели». Жюль стал скучным и чистым. Вывеска «Уголь» осталась, но угля нет. Консержка даже перестала прилить мужа. Только хозяйка мастерской не унывает: «Марго, нацепите что-нибудь такое на зеленую шляпу. Это для жены немецкого полковника».

Марго думает: где же Париж? Все на месте: и улицы, и каштаны, и церковь Маделен, и кафе «Рояль». На террасе немецкие офицеры пьют коньяк, хохочут, пишут открытки. А Парижа нет. И Марго нацепляет оранжевый бант на шляпу: это для жены немецкого полковника.

Люси спрашивает:

— Что грустная? Думаешь о Жане?

— Нет. Я ни о чем не думаю.

Хозяйка жалуется:

— Ходят без шляп, как в Испании... Не знаю, что с нами будет?

Марго отвечает:

— Выживем. Или умрем.

Ей двадцать лет, но она рассуждает, как бабушка.

Вечером она подымается к себе. У нее комната под самой крышей: душная, раскаленная клетка. На столе золотая корона из бумаги: подарок Жана. Это было на масленой перед войной. Они танцовали до утра... А на стене яркие открытки, виды Парижа: несутся красные машины, бьют фонтаны и треплется трехцветный флажок.

В горячий вечер августа Жюль зазвал ее к себе. Она не хотела идти. Жюль подмигнул:

— Ты такое услышишь...

Жюль угостил ее шоколадом и ликером. Откуда только раздобыл? Она выпила рюмку, и вдруг ей стало смешно: ведь был Париж, она танцевала с Жаном, пила ликер. Ничего больше нет. Она выпила еще рюмку. Жюль поспешно ее обнял. Она покачала головой:

— Не нужно.

Он смутился:

— Ждешь Жана?

— Нет. Я больше ничего не жду. Знаешь, Жюль, я любила целоваться. А теперь нельзя. Теперь у меня нет сердца... — Она вдруг вспомнила: — Ты звал меня что-то послушать?

Он посмотрел на часы:

— Через пять минут... Садись сюда, а то не услышишь: они заглушают. Я тихо пускаю. Соседей нет, но все-таки страшно — вдруг пронюхают!..

Раздался смутный вой, как будто где-то очень

далеко кричала сирена. Потом пропустили слова: «Армия Свободной Франции...» Марго удивленно наморщила лоб:

— Какая армия? Ведь армии давно нет...

— Слушай...

Марго припала к деревянной коробке: «Боритесь с немцами... вредите... уничтожайте...»

— Жюль, зачем это говорят?

— Чтобы боролись.

— А ты?..

Он рассердился:

— Я слушаю радио, это уже кое-что. Только смотри — никому ни слова.

Два дня спустя, увидев Марго, Жюль обомлел. Глаза ее лучились, вишневый рот выделялся, как свежая рана. Жюль в злобе спросил:

— Значит, сердце нашлось?

— Нашлось.

Перемену заметили и в мастерской, дразнили, допытывались: кто? Марго отшучивалась. Так продолжалось несколько дней: Марго цвела, а Жюль, мастерицы, кумушки ломали себе голову: с кем она спуталась?

Тайну раскрыла консержка. Рано утром, потрясая шваброй, она в десятый раз рассказывала:

— Нет, вы никогда не догадаетесь... это такая дрянь, я что-то почувствовала, встала... И можете себе представить — это был немец, настоящий немец...

Соседки негодовали:

— Подумать только!..

— Он в плену, а она не скучает...

— Таких скоро высекут, разденут и высекут, как в восемнадцатом.

Жюль, увидав Марго, сказал:

— Вот для кого твое сердце?

Она спокойно ответила:

— Да. Для него.

Консьержка караулила всю ночь, подымалась по лестнице, прислушивалась. В комнате Марго было тихо. Утром девушка, как всегда, пошла в мастерскую. Хозяйка уже знала о ночном происшествии. Поджав лиловые губы, она сказала:

— Говорят, что Марго нашла себе покровителя.

Все мастерицы смотрели на Марго. Она ничего не ответила. Из мастерской она пошла в кафе «Рояль». Там ее и схватили. Она пила коньяк с немецким офицером и задорно улыбалась. Полицейские сжали Марго руки.

Напрасно офицер запротестовал: «Это очень хорошая девушка», полицейские поспешно толкнули Марго в машину.

Они долго подымались по узкой винтовой лестнице. Полицейский спросил:

— Где выключатель?

— Лампочка разбита.

В комнате было нестерпимо душно. Полицейский судорожно зевнул. В окно была видна

желтая ущербная луна. Полицейский осветил карманным фонариком. Стол, на нем лоскутки, крошки хлеба и большая золотая корона. На стене цветные открытки. На кровати спит немецкий офицер. Полицейский поднес фонарик к лицу и сразу отдернул руку: тонкая полоска засохшей крови шла от рта до пола.

— Ножом?

Марго покачала головой:

— Нет. Я взяла у консьержки молоток, я сказала, что нужно прибить штору — пропускает свет. Ножом — это после... Мне показалось, что он дышит, тогда я перерезала шею. Молоток я отдала, а нож не тот, что вы взяли. Этот — чтобы резать хлеб — он в шкапу...

Допрашивал ее полковник, седой и голубоглазый. Он все время глядел на свои длинные отполированные ногти. Чорт знает что, эта девочка ему нравится! Настоящая парижанка... Он отгонял от себя эти мысли. Он спрашивал с подчеркнутым равнодушием:

— Женщина Монробер Маргарита-Луиза, расскажите, как вы совершили преступление?

— Я уже говорила... Сначала он не хотел идти, говорил, что лучше в гостинице. Но я ему сказала, что я не такая, что я не за деньги, а от чувства. Он пошел за мной. В комнате он хотел меня обнять. Я вырвалась. Он нечаянно разбил лампу. Видно было едва-едва — луна, но окошко маленькое. Я сказала: «Лежи

тихо, я сейчас разденусь»... Я взяла молоток и очень сильно ударила — по голове. Потом я испугалась, что он очнется. Я его резала, долго резала, пока не рассвело.

— Вы знали прежде лейтенанта Эрнста Шульце?

— Нет, я познакомилась с ним в тот вечер. Я увидела, что стоит офицер, и улыбнулась ему. Он предложил пойти с ним в кафе. Я пошла.

— Зачем вы на следующий день после совершенного преступления заговорили с капитаном Рудольфом Зейером?

— Я не знаю, как его зовут. Он сидел в кафе. Я хотела увести его.

— К себе?

— Нет. В гостиницу.

— Зачем?

— У меня был складной нож. Его отобрали полицейские...

Полковник не выдержал и посмотрел на Марго. Она улыбалась. Он сказал:

— Вы производите впечатление душевнобольной.

— Я здорова.

— Тогда зачем вы это сделали?..

— Вы сами сказали... Я — Маргарита-Луиза Монробер. А тот был немец. В кафе сидел немец. И вы — немец. Я знаю, что где-то есть армия. Но я не умею воевать. Я обыкновенная мастерица. Я сделала, что смогла.

Полковник больше ее не слушал. Он крикнул: «Увести!» и подошел к окну. Он долго глядел на желтый обломок луны и повторял: «Сумасшедшая». Ему было не по себе.

Марго повели на казнь ранним утром, когда в серо-розовом тумане едва обозначились далекие дома с прикрытыми ставнями и несколько чахлах, как бы обглоданных деревьев. Ей хотелось еще раз взглянуть на Париж, но она вздохнула: Парижа нет. Может быть, он в плену, как Жан? Или за морем, где армия? Она вспомнила школьную книгу; сейчас нужно петь «Марсельезу», но она не знает слов, а нужно петь — не то они подумают, что она боится. И Марго запела: «Париж, моя деревня...» Фельдфебель крикнул: «Петь запрещается!»

Кругом серо-зеленые. Ни одного француза... Испуганный топотом солдат, с дерева поднялся воробей. И Марго, шевеля губами, распрощалась с ним: «До свидания, милый».

КОНЕЦ ГЕТТО

Комендант гетто Иост страдал жаждой. Денщик не успевал наполнять водой графин. Когда Иост пил, на его длинной шее бился большой кадык. Иост был худ; от лиловатых пятен сосудов лицо его казалось неопрятным. До войны в трибунале Касселя он вел гражданские дела и томился. Вечером, когда засыпала жена, он писал новеллы из жизни Ассирии. От напряжения у него делалась мигрень. Он пил воду стакан за стаканом. Жена храпела, и он брезгливо морщился. Его новеллы, рассылаемые заказными пакетами в редакции различных журналов, неизменно возвращались назад с лаконичными ссылками на отсутствие места. Квартира пахла лекарствами и капустой. Коммерсанты Касселя твердили о справедливости, и уныло Иост цитировал параграфы кодекса. Потом он писал о завоевателях, о прекрасных рабынях и о кровавом закате над песками смерти.

Ему поручили ликвидировать гетто неболь-

шого польского города; Иост должен был убить шестнадцать тысяч евреев. Он понимал: для того, чтобы убить всех сразу, не нужно ни знаний, ни воображения. Он убивал медленно и сложно. Он убивал тех, кто жаждал жить, и заставлял жить тех, кто мечтал о смерти. Людей выстраивали у могилы. Солдаты щелкали затворами. Иост долго вглядывался в лица, искаженные страхом, а потом командовал: «На работу!» Он сказал садовнику: «Разведи цветник», и садовник расцвел, думая, что его пощадят. Тогда Иост его повесил. Он изобретал затейливые казни: он подвешивал за подбородок и закапывал живых — последнее он называл «клубами»: из-под земли высывались головы погребенных. Он убил всех годовалых младенцев. Потом он убил старейшего жителя гетто, которому исполнилось девяносто четыре года; старика привязали к хвосту лошади. Однажды Иост получил телеграмму из Касселя: жена поздравляла его с днем рождения. Иост огорчился и приказал убить всех своих однолеток. Он убивал под церковную музыку и под звуки джаза. Он заставлял обреченных танцевать. Он угощал детей конфетами, украшал девушек бумажными лентами и говорил старикам: «Расчешите бороды — через пять минут вы увидите бога, а бог любит приличье». Он разделил дни: четные числа он посвящал пыткам страхом, нечетные — пыткам надеждой.

Он клялся, что казни прекратятся, устраивал санитарные комиссии для улучшения жизни гетто, строил новые бараки, подкидывал якобы оброненные им письма, из которых явствовало, что ни один еврей отныне не будет умерщвлен. Его кадык судорожно бился, и он облизывал сухие горькие губы. Он жил в страхе, что кончится война и он вернется к злополучным новеллам.

Студента Радомского ранили при попытке к бегству. Иост приказал запереть беглеца в пустом сарае. Радомский гнил: в его ране копошились черви. Так умирало все гетто. Женщины рожали, зная, что их детей убьют. Напрасно старики молились у свитка торы, выпрашивая смерть. Появились пророки, которые говорили о возмездье за прошлые грехи, о спасении избранных. Один вопил: «Скоро остынет солнце и придет Мессия». Верующие постились, не спали. Люди, потерявшие рассудок, прыгали и квакали. Биолог Левит спешил окончить книгу, начатую им до войны. Каждую ночь он закапывал листы, написанные за день. «Я тебя люблю, Лия, — сказал дочери Левита семнадцатилетний Герш и вдруг засмеялся: — Завтра нас закопают...» Солнце восходило и заходило, четные дни сменялись нечетными. Иост пил воду и в длинном регистре зачеркивал имена казненных. Из шестнадцати тысяч в гетто оставалось менее пяти.

Человеку свойственно надеяться даже на край могилы. Верующие уповали на бога. Ослабшие духом хватались за обещания Иоста, которые он расточал в нечетные дни. «Он сказал, что никого больше не убьют», — в гетто Иоста не называли по имени, говорили: «он». Были сильные и гордые; эти не надеялись ни на Мессию, ни на милосердие Иоста, ни на чудо. Во главе непримиримых стоял механик Коган.

Иост убил жену Когана и двух его детей, и у Когана ничего не осталось, кроме ненависти. Глядя на весеннее небо, на березу, случайно попавшую в гетто, на хрупкую красоту Ли Левит, он чувствовал, что ненависть ширит его сердце. До войны он был обыкновенным человеком, вместе с товарищами бастовал, любил кино и водку. Его мягкие серые глаза теперь потемнели: в них было ожесточение. Когда он говорил, пророки замолкали, а матери прижимали к себе детей: это говорила совесть гетто. Коган организовал «Группу восстания». Он сказал: «Мы попытаемся вырваться из гетто и пройти к партизанам. Я не говорю, что мы пробьемся, но, если мы достанем оружие, мы убьем сотни палачей. Мы погибнем не как овцы, но как солдаты». Заговорщиков было семьдесят; среди них профессор Левит с дочкой, знаменитый скрипач Айзен, семь братьев Шнеур — их шутя звали Маккавейами, силач Лазарь, бывший унтер польской армии, и ста-

рый резник Рутман. Они вырыли под гетто подземный город. Они покупали у мадьяр винтовки. Они достали пулемет и гранаты. Восстание было назначено на 1 мая.

Семнадцатого апреля роттенфюрер Гайзе сказал Иосту: «Меховщик назвал одного, а потом умер». Иост вспыхнул: «Вас надо отдать под суд! Восемь месяцев вы работаете и не научились допрашивать!»

Меховщик Зейлик состоял в организации повстанцев. Его пытали всю ночь и полуживого положили на раскаленную плиту. Роттенфюрер Гайзе зажал платком нос: смердило. Меховщик назвал Когана и впал в беспамятство. Он умер, не приходя в себя.

Иост опорожнил графин, его преследовал металлический привкус. Он отправился в гетто и собрал всех евреев. Он сказал: «Коган должен выйти к воротам до девяти часов вечера. Если Коган попытается скрыться, или если он покончит жизнь самоубийством, или если он будет убит, я прикажу в девять часов вечера умертвить всех жителей гетто». Иост посмотрел на часы и добавил: «В вашем распоряжении четыре часа. Вы можете найти Когана или помолиться перед смертью». Сказав это, Иост ушел к себе. У него болела голова, и он злился: все приключилось в день, предназначенный для пытки надеждой, а Иост любил порядок.

Плакали женщины, обнимали детей и крича-

ли: «Коган должен выйти». Старики молились, чтобы бог вывел к воротам Когана. Главные говорили: «Он только пугает, он не может убить всех». Скептики возражали: «Все равно, выйдет Коган или не выйдет, он нас убьет». Портной, обросший библейской бородой и потерявший рассудок, вопил: «Уйдем из Египта!..» Айзен играл на скрипке. Левит, задыхаясь, дописывал главу. Герш целовал руки своей невесты и повторял: «Лия! Лия!..»

Коган находился в засекреченном укрытии, о котором знали только руководители «Группы восстания». Когда немцы увели меховщика Зейлика, Коган понял, что близка развязка. Он обсуждал с унтером Лазарем план предстоящей операции. Вошел Шнеур-старший и рассказал об ультиматуме. Коган распорядился: «Соберем шестерку».

Полчаса спустя все были в сборе: Коган, Шнеур-старший, Левит, Лазарь, Айзен, старик Рутман. Коган сказал: «Обсудим положение». Шнеур-старший взял слово: «Ты не должен выходить. Мы можем начать восстание». Потом выступил Айзен: «Зачем ты нас спрашиваешь? Разве мы для того дали клятву, чтобы выдать тебя? У меня нет оружия, но я буду бросать камни...» Старик Рутман поддержал его: «Ты говоришь, что мы получим послезавтра два пулемета. Я тебе отвечу: все равно у него пулеметов больше. Но он — свинья, а мы честные

люди, и я хочу умереть, как честный человек. Я не хочу, чтобы мне сказали перед смертью: ты купил отсрочку, предав Когана».

Тогда встал Коган, и все замолкли. Он сказал: «Я понимаю ваши чувства, но я все-таки выйду к воротам. Он убил мою жену и двух крошек. Я его так ненавижу, что я с легким сердцем отдамся в его руки. У меня найдется для него молчание. Вы говорите красиво, но неразумно. Послезавтра вы получите два пулемета. Лазарь — опытный солдат, он меня заменит. Вы сможете вырыть ход до стекольного завода, работы осталось на пять ночей, не больше. Тогда вы окажетесь возле склада. Если вам удастся перебить немцев, вы уйдете в лес. Если немцы возьмут верх, вы все же взорвете склад. А сегодня мы ничего не можем сделать. В лучшем случае мы застрелим десять немцев, а этого мало. Жизнь Когана никого не должна интересовать. Нужно убить как можно больше немцев и взорвать склад. Я назначаю командиром Лазаря, это мой последний приказ».

Напрасно пытались с ним спорить, он стоял на своем. И старик Рутман сказал: «Коган прав. Мы должны думать не о себе, но о мертвых. Я всю жизнь верил в бога, о нем говорил: «Это бог мести». Теперь я ни во что не верю. Я не бог, я старый еврей. Но я видел, как они убили моего маленького внука, и я хочу быть богом мести».

Коган попросил Шнеура-старшего: «У тебя есть полбутылки. Мы выпьем на прощанье». Налили всем поровну; Коган поднял стопку: «За вашу мечь, друзья! За Первое мая». Рука скрипача Айзена дрожала, и Коган, задумавшись, сказал: «Ты замечательно играешь на скрипке. До войны я видел твое имя на афише, а здесь я услышал, как ты играешь. Я видел тогда покойную жену и крошек. Я видел весну, не эту, в гетто, да и не те весны, которые я пережил, я видел весну жизни. Ты знаешь, Айзен, людям будет хорошо. Не теперь — когда-нибудь. Они перестанут стрелять, они будут слушать музыку... — Он поглядел на часы: — Мне пора».

Его провожало все гетто. Женщины, недавно говорившие, что он должен выйти к воротам, рыдали и рвали на себе волосы. Старики молились, чтобы бог укрыл Когана от Иоста. Коган обнял Лию Левит и сказал: «Ты, может быть, увидишь другую весну». Потом он вышел за ворота, и солдаты отвели его к Иосту.

«Вы самый умный еврей из всех, каких я встречал, — сказал Иост, — и, если вы будете говорить, я дам вам удостоверение. Я напишу, что вы швейцарец. Вы уедете за границу». Коган ответил: «Вы напрасно тратите время, я все равно не стану разговаривать. Можете мечь, как меховщика Зейлика. Я умру, но не крикну — я из другого теста. Поймите, я

вас ненавижу...» Он глядел на Иоста темными чернильными глазами; Иост отвернулся. Он приказал выколоть Когану глаза. Коган не вскрикнул. Он молчал, когда сдирали ногти с его пальцев и когда пилили его ноги. Он умер молча; и наутро немцы приволокли к гетто его изуродованное тело.

Первого мая немцы облили дома керосином и подожгли гетто. Скрипач Айзен погиб в огне: его видели на крыше дома — он кидал камни. Никто не знает, как умер Левит. Около сорока повстанцев дошли до стекольного завода. Они взорвали склад. Братья Шнеур сражались до вечера; они перебили полсотни немцев. Лазарь прорвался к партизанам. Он рассказывает, что Лия стреляла из винтовки в немцев. Ее окружили солдаты. Тогда подбежал Герш и кинул в Лию гранату. Старика Рутмана привели к Иосту. Это было вечером, когда немцы уже расправились со всеми. Иост был весел и, увидев старика, рассмеялся: «Ага, последний Агасфер!..» Тогда резник бросился на Иоста и заколол его припрятанным ножом. Рассказывая об этом, Лазарь говорит: «Он был действительно богом мести».

СЧАСТЬЕ

Когда генерал Брянецв смеялся, казалось, что жизнь его переполняет. Годы не тронули его черных жестких волос. Он был неизменно весел. В те горькие дни, когда бойцы, задыхаясь от пыли и тоски, отступали к Дону, Брянецв говорил: «Скоро развернемся», и смертельно усталые люди улыбались. Начальник штаба, полковник Сиренко, смотрел на Брянецва с удивлением: вот оно, счастье!

Сиренко был неуживчивым, его боялись. Может быть, ожесточила его болезнь — язва желудка. Он выносил только молоко; и на одном из штабных грузовиков, среди кроватей, столов и ящичков, передвигалась лысая корова, выпуклыми равнодушными глазами глядевшая на зловещие картины войны. Страсть к работе помогала полковнику справляться с болезнью: над картой он оживал. Он видел все изгибы земли, все возвышенности и лощины; знал силы противника, изучил его привычки и слабости. Брянецв говорил: «Я без Сиренко как без глаз». А полковник считал себя глубоко несчастным: он

был прикован к штабу. Он жил боем, но не видел боя. Уныло, надтреснутым голосом он кричал в телефон: «Дайте обстановку!» Не было у него ничего в жизни, кроме этой исползованной карандашами карты. Он не ждал ни от кого писем. Дочь его умерла; с женой он давно развелся.

Сиренко старался не глядеть на Брянцева, когда тот читал длинные письма. Полковник знал, что жена Брянцева Мария Ильинишна живет в розовом домике над Волгой и что в саду у нее яблони. Об этом не раз рассказывал Брянцев. Рассказывал он также, что жена работала в музыкальной школе, но теперь хворает, что она до самозабвения любит их единственного сына Олега. Застенчиво улыбаясь, Брянцев добавлял: «Мальчик он хороший...» Сын Брянцева был младшим лейтенантом. Сиренко как-то сказал генералу: «Сын у тебя боевой. Только послушай, Николай Павлович, не похож он на тебя — молодой, а грустный». Брянцев рассмеялся: «Я в двадцать лет за басмачами гонялся. А он стихи пишет. Он у меня в Машу...»

Шла обычная артиллерийская перестрелка. Прилетела «рама», пошумели зенитки. В блиндаже зажгли лампу. Брянцев отдыхал. Сиренко перечел сводку, поговорил по телефону с майором Соболев и вдруг забеспокоился.

— Надо обязательно «языка» достать, — ска-

зал он Брянцеву.— Что-то они задумали. Почему они перебросили танки в лесок у завода?

Сиренко впился длинным ногтем в зеленое пятнышко. Он, не отрываясь, глядел на красные и синие круги, на стрелы, ромбы, спирали — карта для него была нотами: он ее слышал.

Было это в душный летний вечер, когда люди, изнывая, ждали грозы. Брянцев пил из кувшина теплую воду и говорил: «Хорошо, если начнут... Я вот только боюсь за Смирнова — народ у него необстрелянный...»

Около полуночи вошел возбужденный адъютант:

— Товарищ генерал, разведчик здесь. Фельдфебеля приволокли.

Брянцев радостно закричал:

— Тащи его сюда!

Пленного привел лейтенант Хомяков. Он начал докладывать: «Товарищ генерал, на обратном пути...» Брянцев оборвал: «Потом скажете. Надо его допросить».

Немец походил на утопленника: зеленоватое лицо, мутные, безжизненные глаза. Бледным сухим языком он облизывал губы и повторял: «Я ничего не знаю. Я казначей...» У Сиренко был очередной припадок; не стерпев боли, он выругался. Немец вдрогнул, облизал губы и вдруг сказал:

— У меня дети... Начнут в три часа, три-

дцать четвертый полк и танки. Только не нужно меня убивать!..

Сиренко сразу забыл о боли:

— Видишь? Танки у завода. Ясно! А тридцать четвертый — это против Смирнова.

Все завертелось. Сиренко ругался: «Розетка? Дрыхнете вы там! Дайте Оку. Живее!» Брянцев крикнул: «Алеша, заводил!..» Он сказал Сиренко:

— Я поеду к Смирнову. Не знаю, как там будет со связью. Сейчас поговорю с Сердюком. Разведчик здесь?

Лейтенант Хомяков неестественно громко выкрикнул:

— Товарищ генерал, разрешите доложить, при переходе через линию, у высоты сто десять, гвардии младший лейтенант Брянцев погиб смертью героя.

Он выговорил это одним духом и утер ладонью лицо. Сиренко крикнул: «Что?..» В блиндаже было очень тихо; только всхлипывал пленный. Заговорил Брянцев:

— Иван Сергеевич, ты скажи Сердюку — начать в два ноль ноль. А я поеду...

Сиренко заметался:

— Николай Павлович, как же ты?..

«Виллис» с треском понесся по ухабам. Нечем было дышать. А сухая растрескавшаяся земля, освещаемая фарами, казалась снегом.

Еще было темно, когда орудия разодрали

ночь. Потом рассвело, но земля была покрыта дымом. Горел ельник. Столбы пыли вращались, как фонтаны. В четыре часа двинулись немецкие танки.

Историк, описывая битву, видит большую панораму: батальоны, полки, дивизии, батареи, громящие пулеметные гнезда, прорыв танков, командиров на командном пункте, отдающих приказы, продвижение одного, ошибку другого, чередование атак и контратак, опрокинутые боевые порядки, застывшие трофеи и над всем этим солнце победы, холодный, торжественный диск.

Солнце в тот день было жгучим, как уголь, но люди не замечали его ожогов: такой была боевая страда. Участники битвы не могли ее обозреть. Они видели крохотный клочок земли, поле, изрытое воронками, обломанные березовые рожи, несколько разрушенных домов, овраг, пустошь — это нужно было удержать или захватить, за это умереть.

Смирнов отбил первый удар. Немцы бросили танки на Журавлева. Брянцев угадал маневр, он успел подкинуть два батальона в Ивановку. Танки прошли, но пехоту остановили. Повар Яковенко остолбенел, увидав перед собой «тигра». Бронебойщики подбили семь танков, остальные повернули назад. На правом крыле немцы продвинулись до большака. Под вечер с фланга ударил Соболев. Били ручными

гранатами, штыками, прикладами. Брянцев неистовствовал: «Отстают с огнем! Дай мне Сердюка!» Час спустя он кричал в телефон: «У мельницы. Ты меня слышишь — у мельницы». И вскоре бомбардировщики прошли над его головой. В воздухе шли свои бои, как будто люди, не довольствуясь землей, хотели завладеть облаками. Капитан Шепелев дотянул до аэродрома; из рукава его капала кровь; он сказал: «Запиши — два «мессера». А Бирюка сбил...» Сержант Красин, в прошлом бухгалтер «Мосторга», раненный миной, дополз до воронки; там он умер, и перед смертью ему все казалось, что он дома, пришли гости и шумят, шумят... Хирург Ройзен, в забрызганном кровью халате, при тусклом свете лампы, пилил ногу капитана Рашевского; это была шестнадцатая операция за день. Засыпало рацию Наумова; у него шла кровь из ушей, но он раздельно говорил: «Артамьян просит коробочки, коробочки, коробочки...» Три бойца вели пленных; все они припадали к земле при разрыве, потом шли и снова падали. Старшина Васильев ухмылялся: «Эх, фрицы...» — он поджег танк, и майор Соболев ему сказал: «Сегодня же представляю...» Старший лейтенант Беляев нервничал: в его роте осталось не больше двадцати человек, и Беллеву казалось, что немцы где-то прорвались. А Брянцев заделывал брешы, направлял удары с воздуха, перебрасывал полки, придвигал и

отодвигал артиллерийский огонь, срезал клинья, подгонял машину, терзал телефон и приподымал всех своей неумемной силой.

Сиренко заносил на карту различные фазы битвы. «Опять я позади», — в тоске думал он. Коптилка вздрагивала от разрывов. Он отмечал каждое движение. Он знал, что противник подбросил на правый фланг новый полк, снятый недавно с другого фронта. Он знал, что у Смирнова большие потери. Он знал, что Брянцев ни на минуту не потерял спокойствия. Восхищенно Сиренко говорил себе: «Наступают немцы, а инициатива в руках у Брянцева!» Вдруг он оторвался от карты: вспомнил глаза Брянцева, когда тот услышал о смерти Олега. Он смутно подумал: «А счастье?..» Засвистал телефон, и Сиренко крикнул: «Дайте обстановку!»

Брянцев приехал поздно вечером, когда в битве наступила пауза. Он загрохотал:

— Ты бы посмотрел возле Ивановки! Там их помяли. В общем, нигде не прошли. Подсчитали — девятнадцать танков и, понимаешь, шесть «тигров». Что Фомин говорит? Подбрасывают?

— Замечена колонна у Балашевки — тридцать машин. Сосед в девятнадцать ответил, что пленные из прежних частей. Продвинулись они только у Журавлева — до мельницы...

— Завтра восстановим. Ты бы прилег хоть

на час, Иван Сергеевич. Вид у тебя поганый. Болит?

— Ничего не болит.— Сиренко рассердился.— Ты лучше о себе подумай. Отдыхай.

Брянцев сел и другим, необычно мягким голосом сказал:

— Попробую Хомякова вызвать. Узнать, как случилось...

Он молча ждал Хомякова, курил за папиросой папиросу. А Сиренко заслонился газетой; боялся, что его присутствие в тягость Брянцеву.

— Товарищ генерал, гвардии лейтенант Хомяков сегодня убит у Ивановки. Разрешите быть свободным?

Брянцев подсел к Сиренко:

— Давай поработаем. Есть у меня план насчет Журавлева.

И неожиданно для себя он сказал:

— Не знаю, как Маше напишу?..

Сиренко увидел, что глаза Брянцева, всегда живые и веселые, полны слез. Брянцев смутился:

— Глаза у меня болят. Придется завести очки... Старость, Иван Сергеевич...

Сиренко сжал его руку. Они начали работать.

В ТИХОМ ГОРОДЕ

Это был чудесный городок на берегу Луары, и было в нем всё, что нужно для счастья: и старое вино, и молодые девушки, и романская церковь XIII века, привлекавшая туристов, и кино. Приятно было, поглядев на проделки чикагских гангстеров, подыматься по тихим улицам среди цветущих глициний. Над городом высилась гора с пещерами, превращенными в винные погреба. Там бывало прохладно и в зной. Это был край вина, янтарного, чуть горьковатого, с запахом грозди, тронутой заморозками. Жители говорили приезжему: «Скучный у нас город». Но это было притворной скромностью. Ведь написал папаша Южень на двери своего ресторана: «Здесь кушают плохо». А готовил он такие колбасы, запеченные в тесте, такие паштеты из перепелок, такие бифштексы, что даже самый желчный посетитель, отвалившись, улыбался как праведник. Открывая заветную бутылочку, старик Антуан бормотал: «Попробуйте. Как будто не плохое...» В любом другом месте дочку Антуана Ивонну называли бы не

иначе как красавицей. А здесь говорили: «Забавная девчонка». Может быть, жители города не притворялись? Может быть, будучи счастливы, они не знали, что такое счастье?

Они узнали, что такое горе. Пришли немцы, расположились, обжились. Где бывшие колбасы и паштеты? Тяжелее всего обида: знать, что у себя дома не ты хозяин, а какой-нибудь Шеллер или Зельтце. В тихом городке оказалось немало людей гордых и неуступчивых. Антуан — тот ни за что не ответит немцу, прикидывается, что не расслышал или не понял. Ивонна пошла в отца. Когда лейтенант Зельтце сказал ей: «Какое наслаждение любоваться вашей красотой», она ответила: «Лучше бы мне родиться уродкой».

Были и такие, что ужались с немцами. Командант города капитан Шеллер поселился у винодела Рене Лебо. Этот Рене был человеком благодушным и мягким. Его дразнили, уверяли, что он ни разу в жизни не осмелился поцеловать девушку. Рене был влюблен в Ивонну, а она над ним смеялась: «Разве вы мужчина? Вы мямля». Кто только не понукал беднягой Рене! И тетушка, и стряпуха, и все кокетки города. Теперь его оседлал Шеллер. Напрасно Рене пытался убедить Антуана, что командант — человек хороший. Антуан сердито мотал головой: «Хороших нужно повесить в первую очередь». А Ивонна изводила Рене — то крикнет:

«Доброе утро, господин фон Лебо!», то остановит его на улице и при всех спросит: «Как ваши дела у Сталинграда?»

Судьба до поры до времени щадила город. Не было в нем заводов, и его не бомбили. Немцы приезжали сюда, как на курорт, пили вино, гуляли, благодумствовали. Капитан Шеллер был неизменно вежлив, подчеркивал: «Я сторонник мирного сотрудничества».

Шеллер до сорока пяти лет прожил в Восточной Пруссии. После плоских полей, тучных и белесых женщин, отварной картошки Франция казалась ему феерией. Это был обыкновенный немецкий офицер, не добрый и не злой. Он старался ладить с хозяином дома, в котором жил. По вечерам они играли в карты. Шеллер приговаривал:

— Вам чертовски везет, господин Лебо, — сплошные козыри! Да и вообще вы, французы, родились в рубашке. Какое вино! А девчонки? Рене грустно улыбался.

— Нам все-таки не везет. Кто теперь пьет наше вино и гуляет с нашими девушками?..

— Опять восьмерка! Чорт возьми, вы счастличик! А война — это война. Зачем обижаться? Может быть, я предпочитал бы сидеть дома с женой. Мы — люди маленькие..

Так было и в тот июльский вечер. Шеллер мирно тасовал карты, когда горячую тишину потряс грохот. Это взлетел мост через Луару.

в трех километрах от города. Шеллер, не сказав ни слова, убежал.

Он вернулся поздно ночью, возбужденный; постучался в дверь Рене:

— Что вы скажете, господин Лебо?

Рене не знал, что ответить. Он не одобрял покушений. Конечно, лучше без немцев. Может быть, они и уйдут — ведь в России им приходится несладко. Но зачем их раздражать?.. Да, Рене осуждал людей, взорвавших мост, но ему не хотелось в этом признаться.

— Война — страшное зло, господин капитан. Вы были довольны у себя дома, да и мы здесь неплохо жили. Кому нужно, чтобы люди убивали друг друга?

Обычно Шеллер любил пофилософствовать, но сейчас он сухо ответил:

— Это не война, а бандитизм. Я пробовал проводить политику мирного сотрудничества. Теперь мне придется прибегнуть к репрессиям.

На следующее утро Рене увидел возле мэрии объявление; листок еще топорщился от свежего клея. Комендант города сообщал, что винодел Антуан Солье ответит как заложник за совершенное преступление.

Рене побежал к Антуану. Он уговаривал себя: этого не может быть! Просто Шеллер решил запугать город... Дверь открыла Ивонна.

— Где отец?

— Увели.

Она глядела на Рене сухими, горячими глазами: не могла плакать. Он сел на табурет, опустил голову.

— Я ничего не понимаю... При чем тут Антуан?

Тогда в Ивонне поднялась злоба:

— Вам виднее — это ваши друзья.

Он неуклюже поднялся и, опрокинув табуретку, вышел.

Был очень жаркий туманный день, небо казалось молочным, и болели глаза. Рене сидел в комнате с закрытыми ставнями. Шеллер пришел, как всегда, к завтраку. Они молча сидели за столом, оба мало ели. Когда служанка принесла миску с вишнями, Шеллер воскликнул:

— Вот это хорошо! А, что нет аппетита.

— Да, очень жарко. Теперь лучше всего в пещере. Если у вас есть свободное время, господин капитан, мы можем посидеть часок в прохладе. Белое вино освежает.

Шеллер обрадовался. Он не раз бывал в пещерах над городом. Все ему там нравилось: и запах вина, и капли на камне, и полумрак. Приятно забыться после такой ночи... Хорошо, что Лебо не изменил к нему отношения. Впрочем, французы умеют рассуждать. Они понимают, что иногда приходится быть строгим...

Они шли мимо виноградников, свих от серы. Шеллер тяжело дышал: ему трудно было

подниматься по уступам. Худой, ловкий Рене его подбодрял: «Вот и пришли...»

Свежесть и темнота показались Шеллеру невыразимым блаженством. Рене откупорил бутылку, обросшую пылью. Что за букет! Шеллер даже зажмурился от наслаждения. Онпил и рассуждал:

— Вы должны меня понять, господин Лебо. Меня к этому вынудили... Когда солдат сражается против солдата, это жестоко и возвышенно. Но если один победил, другой обязан подчиниться. Таковы правила игры. Вы ведь не станете защищать бандитов?

Несколько раз Рене пытался возразить, но Шеллер повторял:

— Бандиты!

Они приступили к четвертой бутылке. Шеллер размяк: сказались волнения, жара. Он задремал. Очнувшись, он увидел Рене, который спокойно тянул вино.

— Мне пора идти,— сказал Шеллер.

Рене налил еще вина и добродушно начал:

— Вы не знаете французов, господин капитан. Может быть, этот мост взорвали партизаны из Тура или из Анже. Мало ли на свете горячих голов? А у нас город тихий, и живут в нем мирные люди. Не нужно только их ожесточать.

Шеллер рассердился:

— Мы с вами друзья, но не забывайте, что

я комендант города. На мне лежит ответственность за порядок.

— Я понимаю, что у вас тяжелая служба. Но старик тут ни при чем. Вы сами знаете, что не Антуан взорвал мост.

— Я ничего не знаю. Во всяком случае, он на дурном счету. Он не хочет примириться с происшедшим. Я не ошибся, выбрав его. Это правила игры. А теперь я должен идти. Благодарю вас за угощение.

Шеллер встал и, шатаясь, пошел к двери. Она была заперта. Он схватился за кобуру.

— Ваш маузер у меня, господин капитан. Не нужно кричать. Вы, как-никак, в гостях.

Шеллер хотел броситься на Рене. Тот показал револьвер:

— Я не плохо стреляю. Я даже получил на стрельбище в Туре почетный жетон...

Шеллер вытер мокрый лоб: он попал в западню! Кто бы мог подумать, что Лебо связан с бандитами?

А Рене говорил:

— Я вам не сделаю ничего плохого. Я не партизан. Я мирный человек. Я хочу одного — отпустите Антуана.

Шеллер возмутился:

— Я не могу погубить себя. Я офицер. Меня представили к званию майора. Что скажет полковник?..

Его обычно тусклые глаза, расширенные ви-

ном и яростью, светились. Рене вдруг понял, что он ненавидит этого человека. Как мог он с ним играть в карты, чокаться, спать под одной крышей?

— Я не знаю, что скажет полковник. Это мне все равно. Зачем живут люди? Чтобы радоваться или чтобы маршировать по вашей указке? Я вас спрашиваю, зачем растет виноград? Я был дураком, овцой. Вы и меня ожесточили. Не думайте, что я вас пожалею. Я хочу спасти Антуана. У вас пять минут времени, господин капитан.

Шеллер выругался, потом ответил:

— Хорошо. Я выпущу вашего старика.

Рене славился своей доверчивостью. Кто только его не надувал! Но теперь он и впрямь ожесточился.

— Напишите записку лейтенанту Зельтце. А вам придется подождать. Когда они выпустят Антуана, я приду за вами. Не кричите — вас никто не услышит.

Шеллер волновался. Он посадил кляксу и пробурчал: «Эти ручки всегда протекают...» Рене уже запирает дверь, когда немец его окликнул:

— Ничего не говорите Зельтце... Вы можете погубить и меня и себя. Отдайте записку и скажите, что я не спал всю ночь, а теперь отдыхаю.

Час спустя Рене вручил хмурому Зельтце за-

писку. Зельтце, веснушчатый и бледный, прочитал и положил бумажку в папку. Рене спросил:

— Господин капитан интересовался, когда освободят Антуана?

Зельтце равнодушно ответил:

— Заложник уже ликвидирован.

Рене шел в пещеру смутный. Он не знал, что ему делать. Он хотел спасти Антуана. А старика убили. Значит, нужно выпустить Шеллера... Вечером он скажет: «Сыграем по маленькой?»

Когда Рене вошел в пещеру, Шеллер сидел на бочке и плакал. Рене сказал:

— Они убили старика...

Шеллер вздохнул:

— Я очень об этом жалею. Вы правильно сказали вчера: война — страшное зло. Зельтце погорячился... Теперь мы можем идти, не правда ли? Я вас только прошу: никому ни слова!

Рене не двинулся с места. Тогда Шеллер снова стал плакать:

— У меня жена, дочка... Вы сами знаете, что я не виноват.

Рене молчал. Шеллер бросился на него. Рене быстро с ним справился. Немец кричал:

— Вы сошли с ума?.. Вас расстреляют... Я вас умоляю!.. Я вам заплачу... Да вы не имеете права!..

Перед Рене встали глаза Ивонны, горячие и сухие. Он выстрелна. Вода в желобке стала красной.

Он бежал вниз мимо синих виноградников. Он чувствовал огромное облегчение, как будто не было этих черных лет, как будто люди сидят среди глициний и пьют холодное вино.

Зельтце что-то писал: он не заметил, как вошел Рене. Раздался выстрел...

На суде Рене был спокоен, даже весел.

— Знаете ли вы, что вы сделали?

Рене улыбнулся:

— Я знаю больше, чем вы. Я простой человек, винодел, вы меня убьете, и ничего от этого не изменится. А вы сразу потеряли и лейтенанта и капитана.

Он рассказал, как застрелил Шеллера. На вопрос полковника о мотивах преступления он ответил.

— Это я должен спросить: зачем вы пришли? У нас был тихий город. Вы не понимаете, почему я убил двух немцев? Но люди хотят счастья. А когда людей мучают, они стреляют.

Он вспомнил Ивонну. Он не знал, что она бродит по берегу Луары и, глядя на белые пятна тумана, тихо повторяет: «Рене!.. Мой Рене!..»

ТОСКА

У Денисова был один порок: он любил сквернословить. До войны он работал в парикмахерской. Бывало, посетитель, закрыв глаза и поддавшись той неге, которая охватывает человека, когда снежная пена размягчает его щеки, вздрагивал: неужели он так выражается при жене при детях?.. А Денисов был одинок, справлял чужие свадьбы и няньчился с чужими детьми. Жизнь его напоминала чисто прибранную комнату, где никто не засиживался.

На фронте он сохранил прирожденное добродушие. В дни отступления он подбодрял друзей: «Скоро мы им...» И крепкое слово вдохновляло. Он утешал ревнивого Панина: «Обязательно напишет. Ты, твою душу, на себя посмотри — разве таких бросают...» И хотя Панин понимал, что жена его бросила, от слов Денисова ему становилось легче.

На Денисова не обижались, знали, что он ругается от избытка чувств. Брел Сидорюка, он грохотал: «Бабушку твою возьми, ведь этакую щетину вырастил...» И Сидорюк сиял.

Когда товарищи вспоминали прогулки с девушками, семейный уют, детский щебет, Денисову казалось, что и он был необычайно счастлив. Он видел круглые фонари у театра и зеркала парикмахерской, которые уводили человека в голубой таинственный лабиринт. Мир был белым и сладким, как довоенный хлеб.

Перемена произошла внезапно: Денисов перестал ругаться и помрачнел. Боя Сидорюка, он спросил: «Не беспокоит?» И Сидорюк в тоске закричал: «Ты что, рехнулся?» Гадали — что с Денисовым? Он отмалчивался, — он и сам не понимал, что с ним случилось.

Началось это в Никольском. Хозяйка ночью рассказывала, как жилось при немцах. Автоматчики повздыхали, поругались, потом уснули. Глухо, будто про чужое, женщина говорила:

— Я ему сказала: «Махонькая она. Ты блага бойся!..» Да разве они слушают?.. Пришла она, молчит, на дверь смотрит. А глаза мутные, будто не видит. Трясло ее. Я хотела прикрыть, вырвалась, кричит: «Не трогай!» Утром пошла я в овражек, — мы там картошку хоронили, — вернуться, а ее нет. Пришел Агапов, староста, говорит: «Твоя-то утопла». И немец с ним — он самый. Ногами затопал: «Матка!» Это ему молока подавай. Крепкий был, рыжий, как кот. Несу молоко, а у меня руки дро-

жат — про доченьку думаю... Жить я не могу — на себя озлобилась...

Храпели бойцы, и до утра ссорились голодные крысы.

Вскоре после этого Денисов принес четкое немецких автомата. Коротко доложил: «Лечат» и показал пальцем. А как было — не рассказывал. Отдал Панину немецкие часики: «Бери — не то истопчу». Он стал еще мрачнее и, когда Сидорюк попросил: «Побрей», ответил: «Не могу — рука гуляет».

На войне люди быстро привыкают ко всему, и вскоре товарищи свыклись с новым Денисовым, молчаливым, сумрачным. Говорили: «Этот куда хочешь пройдет. А слова от него не дождешься...» Никто не помнил, что был он багвром и ругателем.

Как-то размечтались: что будет, когда кончится война? Сидорюк вздохнул: «Дочка-то выросла, не узнает...» А потом восторженно завопил: «Кавуны? Да разве ты знаешь, какие у нас кавуны!..» Панин до войны хотел стать полярником, писал стихи. Он и теперь всех ошарашил, заявив, что изобретет вечный двигатель или напишет роман вроде «Войны и мира». Спросили Денисова, что он будет делать, когда вернется домой. Денисов сердито пожевал воздух: «Зачем домой?..» Видимо, он все время думал об одном; а может быть, и не думал.

только задышался от тоски, которая росла в его сердце, как опухоль.

На один день он выплыл из того тумана, который и в дни славы окутывает миллионы судеб. Наступали среди болот. Артиллеристы и пулеметчики остались позади. Генерал приказал во что бы то ни стало выйти на шоссе. Дорогу прикрывала высота, поросшая лесом; оттуда немцы вели пулеметный огонь. Денисов пополз вперед; кроме автомата, он взял противотанковую гранату. Был сильный мороз, но он обливался потом. Он бросил гранату, упал, через минуту поднялся и, добежав до окопа, стал строчить из автомата. Позади будто гром захлопотал — это шли наступающие.

Вечером Денисова вызвали к генералу. Денисов глядел исподлобья, словно ждал, что его будут ругать. А генерал улыбался:

— Орел! Без тебя весь день протоптались бы... Девятнадцать орудий, штабные документы, — понятно? Ты, говорят, лейтенанта изрешетил...

Денисов поглядел — голубенький конверт, бутылка с одеколоном. Он вспомнил прошлое — зеркала, огни, вальс; и неожиданно для себя он сказал:

— Мне, товарищ генерал, только бы бить!.. Лейтенант этот рыжий был...

Генерал рассмеялся:

— Рыжий или сивый, главное, что немец. Орел! Ничего не скажешь, орел!

Фотографию Денисова поместили в армейской газете; он лихо улыбался, никто не знал, сколько трудов стоила фотографу эта улыбка.

Денисов все чаще и чаще видел прошлое; воспоминания его не веселили. Он угрюмо думал: до чего было хорошо! Под выходной танцевали, ходили в театры; а если и горевали, то смешно вспомнить о таком горе — комнату другой перехватил или соперник отбил! Шурочку...

— Болен ты, — сказал Денисову Сидорюк.

— Нет. Ем, сплю, все как полагается.

В одном селе угостили Денисова яблоками. Он с детства любил запах антоновки; бывало, надкусит и не ест — нюхает. А теперь он взял яблоко, понюхал и вдруг подумал: «Может быть, я впрямду болен?» Ничто не могло его развлечь. Тоска росла и не отпускала.

Он должен был погибнуть. Это случилось в день оттепели и той тревоги, которая предшествует большим боям. Утром немцы начали контрнаступление. Денисов пошел в разведку и не вернулся. Только теперь товарищи поняли, как к нему привязались. Сидорюк вспомнил: «Сидит, молчит, а сердце у него разговаривает...» Панин написал стихи о Денисове, хотел послать в газету, потом рассердился, порвал; приволок «языка», золотушного ефрей-

тора, и всю дорогу кричал: «Ух, гады! Какого человека загубили!»

Прошло два месяца. Много было боев, жертв, вернули потерянную территорию. Сидорюка тяжело ранили. Пришло пополнение. В роте мало кто вспоминал Денисова. Из пополнения никто его не знал.

Два дня дрались за Рудню: наконец немцев вышибли. Из леса повыползали женщины с детьми. Панин сушил в хате портянки. Как когда-то в Никольском — храпели товарищи, пищали кобысы, и хозяйка рассказывала про немцев. Панин давно привык к этим бесконечным тоскливым повествованиям, похожим на ветер, который томится в печной трубе.

— Пытали, а он молчал. Бросили его у колодца, где ваша машина застряла. Весь порезанный лежал, с выпущенными кишками. Я к нему подошла, плачу: «Смерть тебя принимать не хочет». Он открыл глаза, говорит: «Я бы рад умереть, да не умирается...» Жизнь, значит, в нем сидела. Стою я и думаю: сынок у меня такой... А тут идет немец. Он, значит, поднатужился и как плюнет в немца, — кровью плюнул, душу свою облегчил. Смотрю, а он и не дышит...

Панин вдруг вскочил:

— Стой! Да ведь это Денисов!

— Не спросила я, как звать... Большой был, выше тебя. А волосы черные...

Женщина повела Панца на околицу. Желтели первые цветы. В овраге еще лежал снег, серый и призрачный.

— Здесь схоронили...

Панин выстрелил из автомата, и его веселые непутевые глаза наполнились едкими, злыми слезами.

ИСКУССТВО

Что такое Франция? Может быть, это петухи на сельских колокольнях, или ярмарка, где кружатся голубые кони карусели, или деревянный кувшин, опоясанный медными кольцами, а в нем густое терпкое вино? А может быть, Франция это звонкие имена деревень — Ольянэ, Соланж, Монморильон и хохотушка Марго, которая в деревянных башмаках прошла по всей Лоррени?

Для Пьера Франция была длинным залом театра, где в тумане мерцали сотни глаз. Каждый вечер он пел:

Я хотел бы сказать про ласку,
Но нет в моем сердце слов,
Как зимой не найти ни красных,
Ни синих, ни белых цветов.

Зрители смеялись или плакали, аплодировали, свистели, целовались, ели апельсины, грызли китайские орешки и, упоенные, кричали: «Ах, шельма!»

Что приключилось в тот страшный год? Стоят, как вкопанные, кони карусели. Пустой кувшин растрескался, и говорят, что бедняжка Марго увяла в далеком Гамбурге. А театр открыт, только публика не та — немцы не плачут и не смеются, они сидят неподвижно, как понятия. Тучная брюнетка Жаклин попрежнему поет о коварстве матроса, хотя нет больше ни матросов, ни тех девушек, которые, слушая песенку, простодушно сморкались. Попрежнему Фиже показывает тещу и подвыпившего сенатора. Только Пьера нет; его заменил марселец Жюль; он поет про рыбака, который влюбился в сирену, а поймал осьминога. Немцы равнодушно слушают, потом громко встают и уходят.

Пьер иногда стоит возле театра, он глядит на синюю лампочку, на тень офицера. Пьер знает, что в зале сидят немцы. Он знает, что музы, нарисованные на занавесе, плачут. Он мог бы о многом рассказать, но с тех пор, как пришли немцы, никто от него не слышал ни слова. Он глядит на окружающих кротко и отрешенно: их речи больше не доходят до него. «Беда», — говорит жена Пьера, тихая Мари; «беда», — повторяют сердобольные соседки. А Пьер молчит.

Господин Корно возмущен поведением некоторых сограждан. Почему краснодеревцы с мебельной фабрики прикидываются чернорабочи-

ми? Почему учитель словесности стал могильщиком? Почему Леруа, вместо того чтобы сидеть на электростанции, торгует зажигалками? Слепцы, они хотят остановить колесницу истории! Но мы им покажем!.. Кто срывает со стен приказы комендатуры? Кто поджигает на запасном пути два вагона? Кто изувечил немецкого вестового? Да, может быть, тот же Леруа. Ведь неспроста он отказался от высокого оклада...

Как ни подозрителен господин Корно, ему не в чем упрекнуть Пьера: бедняга после пережитого оглох и лишился дара речи. Доктора говорят: «Поражение нервных центров». Послушать их — выходит, что от всех событий можно даже ослепнуть. А вот господин Корно не ослеп и не оглох; он поставляет немцам овощные консервы и купил дом на улице Гамбетта. Он говорит: «Нужно шагать в ногу с веком», — ему хочется прослыть философом; но какие-то озорники ночью пишат на его двери: «Шлюха».

Пьер копал картошку, мыл окна, мастерил из брошенных жестянок игрушки и сам продавал их на базаре, ничего не поделаешь — у него жена и сынишка. Давно проданы и буфет, и фрак Пьера, и бирюзовый браслет Мари.

Она не была злой, эта бледная, болезненная женщина, похожая на отражение весеннего дня в мутном зеркале, и она любила Пьера. Но порой у нее опускались руки. Нужно раздобыть

Жако башмачки. Нужно достать картошки или брюквы. Нужно вставить стекла. Господи, до чего много нужно человеку! А жизнь цепляется, заедает и скрипит, невыносимо скрипит. И, не выдержав, Мари ночью шептала Пьеру: «Это глупо. Я понимаю, когда упираются генералы или Леруа. Но кто ты? Куплетист. Ты должен подумать обо мне. Я больше не могу».

Пьер гладил ее мягкие волосы и чувствовал, что даже эти волосы несчастны. Он задышался в своем молчании. «Я хотел бы сказать про ласку, но нет в моем сердце слов». Только теперь он понял, о чем пел в дни счастья.

Событие, потрясшее город, произошло в ночь на воскресенье. Аптекарь и все жители квартала Сен-Флор проснулись от выстрелов. Утром на базаре только и говорили, что о покушении: убит шофер, а коменданта отвезли в госпиталь.

Около десяти часов утра полицейские начали обыскивать прохожих, проверяли документы. Пьера потащили в комендатуру. Его заперли с другими арестованными; были здесь и крестьяне из соседних сел, и ротозей, и священник церкви Сен-Флор.

Смеркалось, когда Пьера повели на допрос. Он увидел немецкого офицера, рыжего и безбрового, с отвисшим затылком. Немец жевал окурок погасшей сигары. У окна сидел господин

Корно. Взглянув на Пьера, он улыбнулся: «Перестарались! Вот вам, господин майор, забавный казус: этот человек был певцом, а после бомбежек оглох и лишился дара речи. Теперь он не может даже мычать». Немец захохотал; его затылок трясся, как малиновое желе. «Глухой — это еще ничего, и Бетховен был глуховат, но певец на положении рыбы — это действительно забавно». Он гаркнул: «Рихтер!» А господин Корно, продолжая беседу, сказал: «Я начал бы список с Леруа. Что касается Гижеля...» Вошел Рихтер, и Пьера выпроводили.

Следовало поспешить домой, успокоить Мари. Но Пьер побежал на окраину, где жил Леруа. Увидев инженера, он крикнул: «Бегите!» Леруа было некогда думать, почему глухонемой заговорил. Да и Гижель не стал расспрашивать Пьера, кто его вылечил.

Пьер вбежал в кафе «Кадран», где по вечерам собирались рабочие мебельной фабрики. Не глядя ни на кого, он крикнул: «Кто не поладил с этими господами, уходите!» Наступила тишина. Одиноко прозвучал голос хозяйки: «Господи, да ведь это глухонемой!..»

А Пьер уже спешил к Мари. Теперь он ей скажет все.

Он ничего не сказал: его задержали, когда, волнуясь, как перед первым свиданием, он поднимался по винтовой лестнице. В комендатуре его долго, угрюмо били. Он молчал. Когда его

привели к рыжему немцу, он не походил на себя. Его чистое светлое лицо, к которому так шла фразная манишка, превратилось в сгусток крови. Немец сказал: «Вы плохой актер, вы не сумели доиграть до конца. Может быть, вы расскажете о покушении на улице Сен-Флор? Или вы еще намерены прикидываться глухонемым?»

Пьер улыбнулся. Так он улыбался, когда пел песенку о цветущей вишне. Нестерпимой была эта улыбка на изуродованном лице — детская игрушка среди трупов расстрелянных. Немец отвернулся. А Пьер сказал: «Нет, теперь я могу говорить. Я только не знаю, о чем вы меня спрашиваете? Я не был на улице Сен-Флор. Вы меня принимаете за героя, а я не герой, я маленький актер, я исполнял куплеты. Конечно, в Париже поют лучше, но, когда я пел, люди смеялись и плакали. Это были обыкновенные люди, и в те времена они были счастливы. Они работали, ревновали, ссорились, но все-таки они были счастливы. Они приходили вечером в театр, и вот я, маленький актер, я им пел о вишне, о любви, о счастье. Я столько чувствовал, что у меня срывался голос. Сударь, это и есть искусство. Вам этого не понять, вы ведь мучаете людей. Как я мог петь перед вами? Теперь и вишни должны засохнуть. На улице Сен-Флор были другие — лучше меня. Хорошо, что вы их не поймали. А меня вы можете убить, я ведь только актер...»

Его били всю ночь. Теперь он не молчал; но все, что он говорил, выводило из себя палачей: они думали, что он прикидывается. Он вспоминал то высокий вяз, то прядь волос на лбу Мари, то музу, которая выплакала свои мраморные глаза.

Когда его повели на казнь, он зажмурился и громко запел:

Я хотел бы сказать про ласку...

А кругом цвели цветы Франции — маки, ромашки, васильки — до самого неба, до рая.

ГОРДОСТЬ

У Маши не было подруг; ее считали заносчивой. Леля Голованова говорила: «Не выношу зазнаек». Была она красива беспокойной красотой: крохотный, чуть приоткрытый рот, изумленная дуга бровей, а глаза то свинцовые, как море в непогоду, то ярко-зеленые. Гадали, с кем она водится; ведь никогда не покраснеет, не проговорится. Квартирная хозяйка, Аглая Никитишна, удивлялась: «Почему Машу ругают?..» Но где было понять старухе бури молодости? Маша и в институте оставалась одинокой. Может быть, ей завидовали? Или не умела она раскрыть свое сердце? Некоторые находили ее неискренней, другие — пустой; были и такие, что говорили: «Лучше с ней не знать».

Немцы подошли к городу внезапно. Выбраться было трудно, но многие выбрались. Маша осталась. Всю ночь город томился. Ветеран гражданской войны, слесарь Стеценко, проклинал судьбу: болезнь приковала его к постели. Он говорил Павлику: «Неужели впустят?..»

Рыжий Ковалев, карлик с лицом, похожим на гипсовую маску, ждал немцев, как нечаянное счастье: он хотел отомстить людям и судьбе. Аглая Никитишна выволокла из сундука иконы, сожгла тетрадки внука и сказала Маше: «Не волки... Как-нибудь переживем».

Утром прошел слух, что немцев разбили возле Степановки. Ковалев стал жаловаться на болезнь: «Я первый уехал бы, только на ногах не держусь». Павлик кричал: «Замечательно! Еще не то будет!..» А под вечер пришли немцы. Ковалев ухмылялся: «Видали? Нет, немцы — это немцы. Точка». Выглядывая из окон, женщины шептались: «В институт зашли... К Селезневой... К Никитиным... Смотрят, какие дома получше...» Ночью стреляли, и Аглая Никитишна поспешно крестилась.

Ковалев стал бургомистром. Он выдал Стеценко, старика Никитина, комсомолку Рублеву. Комендант Зольте сказал: «Вы человек маленького роста, но большого ума», — и засмеялся. Ковалев въехал в дом доктора Цигеля; он возмущенно рассказывал: «Считался лучшим врачом, а ни картин, ни хорошей посуды...» Почет не пошел впрок Ковалеву, он исхудал, говорил, что пошаливает сердце, а хорошего врача нет. Павлик рассказывал, что когда специалиста по сердечным болезням старика Цигеля вели на казнь, он крикнул Ковалеву: «Умру, а ты, гад, сдохнешь!» Павлика немцы

повесили на Базарной площади. Управдом Замай, в прошлом растратчик, выпросил кусок веревки. Он играл каждый вечер в железку, крупно играл и так при этом потел, что промаслил колоду.

Учителя Шаповалова застрелили за то, что он не поклонился офицеру. Мартьянову схватили: увидав труп Шаповалова, она заплакала. У нее в сумке нашли фотографию моряка. Комендант Зольте спросил: «Муж?» Мартьянова покачала головой. Зольте засмеялся: «Любовник?» Тогда она подошла к Зольте и плюнула ему в лицо. Ее засекли и мертвую повесили, надписав: «Забандитизм». Сосед Мартьяновой, бывший научный сотрудник Аграмов, суетился: «Комод у нее хороший, комод тащите сюда...» Аграмов теперь торговал на базаре венгерским коньяком и сульфидином; он обзаводился мебелью, говорил: «Выражаясь по старинке, переживаю период начального накопления». Палий как-то сказал Аграмову: «Низкая вы тварь, Иван Георгиевич». Палий ночью расклеивал на заборах рукописные листовки: «Москва победит».

Комендант Зольте считал себя психологом. Он поучал своих подчиненных: «Во Франции я щеголял остроумием и пил вино, а здесь я пью водку. Русские любят, чтобы им залезали в душу. Мы здесь не на день и не на год. Чтобы освоить эту страну, нужны виселицы и патефоны».

Как-то Ковалев, осмелев, попросил у коменданта машину: «Неудобно — бургомистр ходит пешком». Зольте ответил: «Машины для немцев. Но почему бы вам не обзавестись пролеткой? Я за традиции...»

Зольте славился своей распушенностью, он шутил: «Даже Марс попался в любовные сети, а я только слабый последователь Марса». Он попробовал ухаживать за студенткой Бахрушиной. Она ему ответила: «У меня брат в Красной Армии». Зольте ее отослал в Германию. Леля Голованова оказалась сговорчивей. Зольте пригласил ее в офицерский клуб, угощал шампанским, после каждого танца целовал руку. Леля потом говорила: «Глупо валить всех немцев в одну кучу! Этот Зольте удивительно милый».

Маша служила в комиссионном магазине, разбирала залатанные наволочки, склеенные тарелки, которые в десятый раз меняли владельцев. Когда ее спрашивали, как ей живется, она отвечала: «Спасибо». Соседки подозревали, что она обзавелась немецким покровителем. Однажды в магазин зашел Зольте. Он не смотрел ни на вазы, ни на старые готовальни. Он смотрел на Машу. «Доброе утро, барышня!» Она не ответила.

Под вечер пришла Леля: «Комендант тебя приглашает в субботу на вечеринку». Маша упиралась: «Мне надеть нечего... Я и танцевать

не умею...» В конце-концов она согласилась, и тогда Леля злобно прошипела: «Ты напрасно набиваешь себе цену, немцев ты не проведешь».

Зольте был с Машей подчеркнуто вежлив; сказал, что счастлив познакомиться с «настоящей русской феей». Compliments его не отличались разнообразием: Леля в свое время была тоже названа феей. Но на этот раз Зольте был особенно возбужден: его потрясла красота Маши, ее гордость, отрешенность. Она как бы не замечала его слов. В следующую субботу он снова заговорил о своих чувствах. Маша молчала. Он раздражился: «Я не люблю чересчур гордых женщин». Она ответила: «Я не претендую на вашу любовь». Он решил выждать еще неделю: третья атака бывает решающей.

У Зольте было немало забот помимо Маши. На Московской улице убили писаря комендатуры. В офицерском клубе была обнаружена мина замедленного действия. Ночью кто-то написал на здании института: «Красная Армия наступает». На базаре раскидали листовки. Зольте приказал обыскать все квартиры. Аглаю Никитишну выволокли из-под одеяла, она бормотала: «Бесстыдники!» Возле вокзала патруль задержал молодого человека. На нем нашли два маузера. Его били весь день, он молчал. Ковалев признал в нем бывшего студента пединститута Завадского. Зольте приказал повесить студента в сквере напротив театра. Маша стояла в очереди, когда

провели Завадского. Он едва шагнул, лицо его было в крови. Маша сразу его узнала: два года они учились вместе. Ей показалось, что и он ее узнал; их глаза встретились. Возле сквера Завадский громко крикнул: «Не верьте им! Скоро наши придут!» Немец его ударил, и он упал на мостовую.

Вечером Маша говорила Аглае Никитишне: «Вот это герой! Никогда не забуду, как он глядел... Когда-то он с Лелей дружил. Вот подлая!.. А хуже всего, как я — ни рыба, ни мясо. Должно быть, я страшная трусиха. Будь я посмелее, давно ушла бы к партизанам. А я вот в их клуб хожу...» Аглая Никитишна вздыхала: «Кому что отпущено, Маша. Ты не будь гордой, гордость — это чорту радость. Партизаны — это не мы с тобой, это военные, у них ружья... Ты, Маша, себя береги, лучше уж умереть, чем с немцем спутаться...»

На следующий день в офицерском клубе была очередная субботняя вечеринка. Зольте отвел Машу в сторону: «Города я брал силой, а женские сердца нежностью. Я не хочу быть грубым, но вы меня измучили. Я больше не могу ждать...» Отвернувшись, Маша сказала: «Я живу одна...»

Зольте разглядывал большую бонбоньерку с шоколадом — подарок Маше. Здесь были конфеты в золотых, серебряных, изумрудных бумажках, а на крышке был изображен купидон.

который стрелял из лука. Маша не умела стрелять. Золте она убила колуном: рассекла его голову. Она сделала это просто, спокойно, как будто выполняла тяжелую домашнюю работу. Только потом она разволновалась, когда сказала про все Аглае Никитишне. Старуха плакала: «Замучают они тебя... И как ты на такое решилась?» Маша отвечала: «Это всякий сделал бы. Здесь и героизма нет. Вот в лес уйти, стрелять — это героизм. И плакать не нужно. Одна я — ни мужа, ни детей. Вот когда с детьми и на смерть — это страшно...» — «Ты что, партизанка или комсомолка тайная?» — спросила Аглая Никитишна. Маша сказала: «А я как все...»

С тех пор прошло полтора года. Немцы уходили из города поспешно. По дороге бежал Ковалев в больших, спадавших с ног, калошах и кричал: «Меня возьмите! Я бургомистр!» Леля Голованова проплакала весь день, потом напудрилась и кинулась к отдохавшим танкистам с тщательно разученным криком: «Пламенный привет нашим освободителям!» Аглая Никитишна стояла до вечера и все крестила проходившие танки: «Маша-то не дождалась...» Угорсовета стояли партизаны с немецкими автоматами, рабочие, студенты, девушки: они помогли захватить город. Был дождь, но люди улыбались, еще не веря возвращенной жизни, и дождевые капли смешивались с первыми слезами счастья.

Преемник Зольте, капитан Кригер удрал, бросив все архивы. Шкапы комендатуры были набиты бумагами. Раскрыв папки, можно было узнать, сколько отобрано у населения коров или шерстяных изделий, сколько душ отправлено в Германию на работы, сколько убито в самом городе и в Шелбановском поселке. На некоторых папках стояло: «Секретно». Такая пометка была и на деле об убийстве майора Зольте. Протокол допроса был написан витиеватым почерком канцеляриста. Обер-лейтенант Шпер излагал показания Маши:

«Обвиняемая признает, что осталась в городе с целью совершить преступный акт. Она отрицает свою связь с бандами, действующими в окрестных лесах, и с подпольными организациями. По ее словам, она действовала одна. Обвиняемая утверждает, что она не состояла в коммунистической партии, но подчеркивает, что считает себя коммунисткой. Убийство майора Зольте она замыслила, получив через некую Голованову предложение явиться в офицерский клуб. Свое преступление она мотивирует обычными большевистскими лозунгами, утверждая, что германская армия и в частности майор Зольте якобы оскорбляли ее национальную и личную гордость...»

Внизу была пометка: «Приговор приведен в исполнение. Лейтенант Кранц».

Я вышел из здания комендатуры, и город

сверкал, омытый дождем. Маленькие домики казались мне величественными, и я видел кругом только отвагу, верность и счастье. Я не понимал, что еще живу жизнью Маши. Я долго шел по прямой улице и не заметил, как исчезли последние дома. Передо мной была Шелбановская роща. Осенние деревья обливались кровью, но это была та кровь, которая не смущает сердце. Было в этом осеннем дне торжество ясности и гармонии. Вдруг я вздрогнул — старушка мне сказала: «Здесь они расстреливали...» Не было видно следа могил: золотые листья прикрыли землю великолепным покровом.

Где могила Маши? Ее не найти. Но кажется, в прозрачном воздухе, в необычайно высоком, недостижимом небе сентября, в пышности и, однако, сердечности природы живет душа этой девушки, гордой и скромной. И спрашиваешь себя: почему не заметили ее при жизни? Почему не вели с ней задушевных бесед, не украшали ее комнату цветами, а осенью пестрыми ветками деревьев и ягодами рябины?..

СЛАВА

На поле боя, рядом с трупами, с покалеченным оружием, с обрывками газет и клочьями белья, валяются письма — в розовых и голубых конвертах или сложенные треугольником, на линованных листочках, вырванных из тетради, или на обороте накладной. Они похожи на лепестки. Человеку, занятому нечеловеческим делом, они напоминают о жизни.

Люди на войне говорят о разном: о дожде, о каше, о верных и неверных женах, о пройдошливом бухгалтере колхоза; они не говорят о войне.

Как умел рассказывать Лукашов о своем доме! Даже недоверчивые умилялись: Ново-Ильинское казалось раем. Там обрыв над речкой; ребятишки полощутся в воде и кричат; а над обрывом дом Лукашова. Полногрудая сероглазая Маша, раскрасневшись, стоит у печи. Ходики стучат, будто сердце бьется... А мед, душистый мед! Под ледяным ветром калмыцкой степи рассказывал Лукашов про пасеку, и лю-

ням мерещилась гречиха в цвету. Среди метели жужжали пчелы, или «пчелки», как говорил Лукашов.

Много верст прошел Лукашов. Был яркий осенний день, и песок сверкал, как снег. Река показалась Лукашову такой широкой, что он вздохнул. А товарищи весело кричали: шутка ли дойти до Днепра! Лукашов нашел среди лозы скверную лодчонку. Его мучало нетерпение. Капитан сказал: «Украинцы просятя...» Лукашов рассердился: «Я вот тамбовский...» Он торопился, как будто на том берегу — его дом.

Плыли они долго: течение относило лодку. У Лукашова руки были в крови. Немцы стреляли, и река фыркала. Потом осколок пробил корму; вода засвистела. Лукашов пустился вплавь; на лбу его вздулись жилы.

«Доплыл», — восхищенно говорили товарищи. Имя Лукашова повторяла телефонистка; оно вошло в хату, где четыре генерала сидели над картой; долетело до Москвы, проникло в накуренные комнаты редакций, спустилось в наборные, а наутро пошло колесить по необъятной стране.

Прочитав газету, Маша заплакала. «Глупая, — сказал отец, — Чего плачешь? Видишь, чин у него какой?» Она ответила: «Это я сдуру», — и улыбнулась, а слезы текли и текли. Она вспомнила мужа, — как он читал газету: «Война в Испании»... Образ Лукашова расплывал-

ся, и от этого хотелось еще сильнее плакать.

Вечером на сыром песке сидели люди. Небо было в огнях, зеленых и оранжевых.

— Переправу долбит, — сказал Лукашов и, закурив, снова начал рассказывать: — Приехал пионерлагерь. Вожатая с ними, киевская. Разве я тогда думал, что судьба сюда приведет?.. Вечером ребята разожгут костер и поют. И она пела. Бывает ведь у человека такой голос — дрожь берет. А Маша смеялась. У нее всегда так — схватит за сердце и смеется. Я спрашиваю: «Откуда песни такие?» А она...

Загрохотал мотор. Все подтянулись, думали — генерал. Но из машины вышел незнакомый офицер, спросил, где Лукашов. Это был Дадаев, военный корреспондент и писатель. Лукашов подошел к нему:

— Здесь, товарищ майор.

Дадаев улыбнулся:

— Замечательно! Я от газеты. Да и сам хочу поговорить по душам...

Лукашову стало неудобно: слава его томила; он рвался в неизвестность, как птица в зеленую тень леса.

Дадаеву сказали в редакции: «Нужно показать героев переправы». Он стал расспрашивать Лукашова; тот отвечал коротко и сухо: доплыл, потом подоспели другие. Обычно словоохотливый, он притих. Он знал, что товарищи теперь говорят: «Повезло — о нем Дадаев напишет», и от

этого было скучно, хотелось поскорее вернуться к друзьям, досказать про вожатую. А Дадаев не унимался, чем-то привлекал его этот скромный спокойный человек.

Писателям нравятся люди, которых они никогда не смогут описать; а жизнь в книгах Дадаева была громкой и бурной. Он не умел говорить шопотом, не разбирался в оттенках; войну он видел жестокой и прекрасной. Он был смел и, выбирая самое опасное место, дразнил смерть.

Многие считали Дадаева злым, но он мог, оттолкнув друга, обласкать первого встречного: люди для него были только частью пейзажа. Он был одарен, писал занимательно, писал то, что от него требовали, — не от угодливости, а от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками. Он не любил ни той женщины, из-за которой пытался кончить жизнь самоубийством, ни старика-отца. Любил ли он искусство? Он думал только о нем. Испытывая творческую неудачу, он терзался, как злополучный игрок; ставкой была слава. Когда приятель его упрекнул в тщеславье, он серьезно и печально ответил: «Может быть, и слава — тщета...»

Он гордился умением раскрывать сердца: прославленный «ас» признался ему, что он суеверен, как бабка; седой полковник посвятил его в свои сердечные неурядицы. Почему же не

мог он разгадать этого человека с голубыми доверчивыми глазами?

— Вы с Голубенко поговорите, он в ту ночь три раза переправлялся.

Дадаев улыбнулся:

— Я про вас хочу написать. Жена ваша прочитает...

Лукашов вздрогнул: он забыл, что перед ним писатель.

— Засмеется. А стосковалась — ведь третий год...

Наконец-то Дадаев узнал его тайну, услышал и про Машу, и про пчел, которые жужжат.

Стало светло от ракет; близко разорвалась бомба. Дадаев курил и рассеянно улыбался. А Лукашов прижался к песку. Он думал: почему Дадаева не пугает смерть?

— Вы, товарищ майор, семейный?

— И да, и нет. — Дадаев встал. — Ладно, поговорили. Мне еще нужно на КП.

— Лучше переждите до утра — дорога-то лесом... Еще не прочистили. Вчера грузовую обстреляли...

Дадаев пожал плечами:

— Доеду.

Он пошел к капитану; тот попросил:

— Если есть местечко, подкиньте Лукашова — его полковник требует.

Темно было и в поле; но, добравшись до леса, они почувствовали, что въехали в ночь.

Фары вырывали из темноты то глетчеры песка, то деревья, похожие на исполинов. Мир казался невиданным.

Лукашов сидел рядом с Дадаевым. Ему хотелось поговорить, но он боялся, что наскучил писателю. Зачем его вызывает полковник? Снова будут спрашивать... Сжимая автомат, Лукашов вглядывался в ночь: лес жил.

Вдруг убьют Дадаева?.. За два года Лукашов присмотрелся к смерти, но от мысли, что могут убить знаменитого писателя, он взволновался. Вспомнил, как весной убили подполковника Анохина, и все говорили, что погиб замечательный инженер. Лукашов тогда отнес в штаб его документы, а среди них фотографию — маленькая девочка с косичкой...

Лукашов ежился: ночь была сырой и холодной.

— Товарищ майор, отдыхаете?

Дадаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, как будто услышал потрясающую исповедь. А что рассказал ему Лукашов?.. Дадаев усмехнулся: придется писать о пчелах... Потом он задремал.

Очнулся он от выстрелов.

Лукашов заслонил Дадаева. Машина не остановилась. Схватив автомат, Дадаев почувствовал кровь. Дадаев дал очередь. Из темноты еще стреляли. Потом наступила тишина. Дадаев стал ощупывать Лукашова. Он крикнул:

«Стой!» Но шофер попрежнему гнал машину. Дадаев расстегнул гимнастерку Лукашова; сердце не билось. Дорога была в ухабах. Лукашов подпрыгивал и падал на соседа. И впервые за войну Дадаев испытал тот ужас, от которого воют собаки и несут лошади.

Когда пришло извещение о смерти мужа, Маша не вскрикнула, не заплакала. Она пошла к обрыву, постояла и вернулась. Долго она не могла осознать происшедшее: прибирала, шила, съездила в город, чтобы оформить документы. Ей казалось, что муж жив. Прежде он представлялся ей далеким, а теперь она с ним разговаривала, прижималась к нему. И вдруг — не было для того повода — она закрыла лицо руками и беззвучно заплакала: поняла, что он никогда не вернется. Она как будто взошла на гору — увидела свою прошлую и настоящую жизнь; знала, что придется работать, разговаривать; может, и выйдет за другого; но будет это не прежняя Маша; а счастье; настоящее счастье позади.

О смерти Лукашова мне рассказал Дадаев. Он был в тот вечер непривычно печален; говорил:

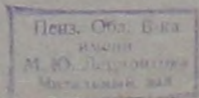
— Я пробовал это описать, не вышло. Насчет пчел получилось нарочито, как в басне. Очевидно, это не моя тема... А странно — Лукашов, первый человек, который умер у меня на руках. Кстати о пчелах. Почему поэты любили

сравнивать себя с пчелами? Не похоже. Люди не цветы, и книги не мед. Вообще наше дело — лотерея: иногда соврешь, и читатели плачут, а с Лукашовым я действительно все пережил — и получился рассказ о пользе пчеловодства.

Он пил; это было густое вино юга, от которого люди с легким сердцем веселеют; Дадаев от него еще больше помрачнел.

— Вам это покажется смешным, но я часто думаю о смерти. Должно быть, я слишком рано узнал славу. Это женщина из мрамора. Вместо глаз у нее ямы... Мне холодно, как тогда Лукашову...

Сейчас горячий летний полдень. От зноя воздух дрожит. Я думаю о Лукашове. Он мне кажется живым, и я хотел бы сказать об этом Маше. Я не знаю, в чем он продолжает жить, — в ее ли сердце или в громе наступления, или, может быть, в жужжании пчел, которые тяжелеют над цветущими полями; но я знаю, что он не умер и не мог умереть.



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Актерка	3
Генерал Мерсье	11
Джо	19
Удел капитана Волкова	27
Марго	34
Конец гетто	42
Счастье	51
В тихом городе	59
Тоска	69
Искусство	76
Гордость	88
Слава	92

Редактор *Н. Замошкин*

A7942. Подписано к печати 24/X 1944 г. Печ. л. 3¹/₈ квт. л. 3,00,

уч. изд. л. 3,25. Тираж 25 000. Заказ 1671. Цена 2 р. 25 к.

Издательство „Красный печатник“ ул. 25 Октября, д. 5.

2 р. 25 к.